

Я должна рассказать

**Мария Григорьевна
Рольникайте**

SHOUT
SHARE **IT**



Annotation

"Я должна рассказать" — дневниковые записи, которые автор в возрасте с 14 до 18 лет вела, одновременно заучивая их наизусть, в Вильнюсском гетто и двух нацистских концлагерях.

- [М.Рольникайте](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 -

М.Рольникайте
Я ДОЛЖНА РАССКАЗАТЬ
Документальная повесть

ПРЕДИСЛОВИЕ

Во Франции, в Польше, в Чехословакии, в других странах вышло много художественных произведений, сделан десяток кинокартин, показывающих массовое уничтожение нацистами евреев. Есть среди них более или менее удачные, но писателю или художнику не дано перевоплотить происшедшее: у искусства свои законы и оно останавливается перед творческим преображением тех явлений, которые лежат вне пределов всего человеческого.

Как я писал о том в моей книге воспоминаний, вместе с покойным Василием Семеновичем Гроссманом, мы начали в годы войны собирать документы, описывающие истребление нацистами еврейского населения на советской территории, захваченной гитлеровцами: предсмертные письма, рассказы немногих спасшихся, дневники — рижского художника, харьковской студентки, стариков, девушек. Сборник мы называли "Черной книгой". При закрытии Еврейского антифашистского комитета, набранная, сверстанная и частично напечатанная книга была уничтожена. К счастью, у меня сохранились многие оригиналы документов. Теперь "Черную книгу" собираются издать. Думаю, что она всколыхнет совесть тех читателей, которые начали забывать о страшных годах фашизма: ведь в ней нет ни искусства, ни выдумки — клочки бумаги, на которых записана правда.

Дневник Маши Рольникайте вышел в Вильнюсе на литовском языке, а в начале 1965 года ленинградский журнал «Звезда» опубликовал его по-русски: в нем ценны не фантазия автора, а правдивость описания жизни в гетто и всего пережитого четырнадцатилетней девочкой, которую жизнь заставила преждевременно думать, наблюдать, молчать.

Дневник Анны Франк писала тоже девочка и он оборвался рано. В ее дневнике нет ни быта гетто, ни массовых убийств, ни лагерей смерти. Замурованная девочка играла в любовь, в жизнь, даже в литературу, а за стенами шла зловещая охота за спрятавшимися евреями. Дневник Анны Франк сберегла голландка и его напечатали без того, чтобы человеческая память или рука редактора прикоснулась бы к тексту. Дневник девочки потряс миллионы читателей своей детской правдой.

Добрый и смелый учитель Маши, Йонайтис сохранил первую тетрадку дневника — начало страшных лет. Потом Маша, по совету матери, стала заучивать наизусть написанное, но не всегда она могла писать и не все из написанного запомнила слово в

слово. Свой дневник она восстановила и записала после освобождения: события описаны правдиво, точно, но, конечно, не всегда восемнадцатилетняя Маша могла восстановить чувствования пятнадцатилетней девочки. Однако ее дневник необычайно ценен детальным рассказом о жизни десятков тысяч людей в гетто: одни покорно ждали смерти, другие надеялись на чудо, третьи боролись, как один из героев Сопротивления Витенберг.

Маша была дочерью прогрессивного виленского адвоката, который не раз выступал в суде, защищая коммунистов. К его фамилии Рольник прибавлено литовское окончание, а в русском издании имя Маши, которое показалось уменьшительным, превратилось в Марию. Маша еще в школьные годы увлекалась литературой, потом закончила Литературный институт. Но само заглавие показывает, что Маша почти всегда ограждала свой дневник от вторжения литературы: это свидетельское показание.

В городах и местечках Украины, России, гитлеровцы вскоре после захвата собирали евреев и расстреливали их. Так было в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске, в Гомеле, в Смоленске и в других городах. В Риге, в Вильнюсе, в Шауляе, в Каунасе, в Минске гитлеровцы устроили гетто, посылали евреев на работу и убивали постепенно — массовые расстрелы назывались "акциями".

До революции Вильно был русским губернским городом, на короткий срок стал столицей Литвы, в конце 1920 года его захватили поляки, а в 1939 году он снова отошел к Литве.

С давних пор Вильно считался одним из крупнейших центров еврейской культуры. Нацист Розенберг нашел в нем немало древних книг и ценных рукописей. Нет точной статистики евреев, убитых нацистами. Спаслись немногие — город был захвачен гитлеровцами в первые же дни войны. Вильнюс был освобожден в июле 1944 года после шестидневных уличных боев. Я встретил тогда в городе отряды еврейских партизан; они мне рассказали, что около пятисот юношей и девушек убежали из гетто и вошли в партизанские отряды. Все остальные узники гетто — около восьмидесяти тысяч были убиты нацистами неподалеку от Вильнюса — в Понарах.

Рассказывая о том, как ее разлучили с матерью, Маша пишет: "Плачу. Что я сделала? Что сделала мама, другие люди? Разве можно убивать только за национальность? Откуда эта дикая ненависть к нам? За что?" — Так спрашивала шестнадцатилетняя девочка и это не праздный вопрос. Прошло двадцать лет со дня разгрома гитлеровской империи, но снова и в Западной Германии, и в других странах мира появляются пауки свастики на

памятниках замученных, раздаются старые разговоры о том, что во всех несчастьях виноваты евреи. Пусть книга Маши, один из многих документов, показывающих годы затемнения разума и совести, презрения ко всему человеческому, напомним о том, что, как сказал польский поэт Тувим, "антисемитизм это международный язык фашизма" и что, пока не исчезнут призраки расизма и фашизма, ни одна мать — ни еврейская и ни «арийская», ни черная и ни белая не сможет спокойно глядеть на своих детей. Маленькая сестренка Маши Раечка спрашивала в последние минуты мать: "А когда расстреливают — больно?".

Пусть это никогда не повторится.

Илья ЭРЕНБУРГ

Воскресенье, 22 июня 1941 года. Раннее утро. Солнце светит весело. Наверно, от гордости, что оно разбудило весь город, привело в движение. Я стою в воротах нашего дома. Дежурю. Конечно, не одна — вместе с соседом из восьмой квартиры. В последнее время дежурят все. Даже мы, школьники. При объявлении воздушной тревоги дежурные обязаны созывать прохожих в подворотню, чтобы улица опустела.

Я думала, что дежурить будет интересно, а на самом деле — очень скучно. Сосед, очевидно, не считает меня подходящей собеседницей и читает журнал. Я книжку не взяла: читалась во время экзаменов.

Глазею на прохожих. Гадаю, куда спешат, о чем думают. И все поглядываю на часы — скоро уже кончится мое дежурство, побегу к Нийоле. Мы договорились идти купаться.

Вдруг завывла сирена. Вторая, третья — каждая своим голосом, и так странно, неприятно. Смотрю — сосед вышел на улицу. Выбежала и я. Зову всех во двор, но меня почти никто не слушает. Еще хорошо, что хоть не задерживаются, а спешат дальше. Наконец улица опустела.

Стою во дворе и жду отбоя. Осматриваю своих «гостей», прислушиваюсь к их разговорам. Боже мой, да ведь они говорят о войне! Оказывается, тревога вовсе не учебная, а самая настоящая! Уже бомбили Каунас.

Мчусь наверх, домой. Все уже знают...

Война... Как надо жить во время войны? Можно ли будет ходить в школу?

Тревога длилась долго. Еле дождались отбоя.

Вскоре сирены снова завывли. Послышалось несколько глухих ударов. Папа говорит, что это уже бомбят город, но бомбы, по видимому, падают еще где-то далеко. Однако оставаться дома опасно — третий этаж; надо спуститься во двор.

Во дворе уже собрались почти все жильцы нашего дома. Некоторые даже с чемоданами и свертками. Куда они в такой день поедут? Мама объясняет, что они никуда не едут; просто взяли самые необходимые вещи, чтобы, если разбомбят дом, не оставаться без всего. А почему мы ничего не взяли?

Вот и вражеские самолеты.

Мне очень страшно: боюсь бомб. Услышав свист приближающейся бомбы, перестаю дышать: кажется, будто она упадет прямо на нашу крышу. Оглушительный удар, и я сразу начинаю бояться следующей бомбы.

Наконец самолеты улетели. Мы поднялись домой

позавтракать. Ем и еле сдерживаю слезы: может быть, это уже последний завтрак. Если даже не убьют, все равно нечего будет есть — ведь магазины закрыты.

Снова завыли сирены. Мы спустились во двор. На этот раз не бомбили.

Какой длинный день!..

Под вечер фашистские самолеты еще больше обнаглели. Не обращая внимания на наши зенитные орудия, летали над городом и бомбили. Один раз я все-таки осмелилась высунуть голову на улицу и взглянуть на небо. Самолеты пролетели, высыпав, словно горсть орехов, маленькие бомбы.

Вдруг так грохнуло, что даже стекла посыпались. Наш сосед, инженер, сказал, что бомба упала близко, наверно на Большой улице.

Стемнело. Настала ночь, но никто не собирается идти спать.

Изредка темноту рассекают перекрестные полосы прожекторов. Скользят по небу, словно обыскивая его. Одни обшаривают медленно, обстоятельно, другие просто мельтешат — слева направо, справа налево. Папа говорит, что они ищут вражеские самолеты. Я крепко зажмуриваю глаза и не смотрю на небо. Тогда совсем не чувствую, что война. Тепло. Как в обычную летнюю ночь. Правда, обычно я бы в такое время уже давно спала.

Тихий гул самолетов. Длинный пронзительный свист. Он близится, близится — внезапно все озаряется и... удар! Снова свист! Удар! Свист! Удар! Еще один! Трещат зенитки, свистят бомбы, сыплются стекла. Адский шум.

Наконец стало тихо: самолеты улетели.

Начинает светать. Война войной, а солнце всходит. Все решили, что здесь недостаточно безопасно, надо укрыться в доме напротив: там есть подвал.

Улицу надо перебегать по одному. Я прошусь с мамой, но она побежит с Раечкой, а папа — с Рувиком. Мы с Мирой уже большие и должны бежать одни. Съежившись, мчусь.

В подвале на самом деле не так страшно: не слышно ни свиста, ни грохота. Но грязно, пыльно и душно. Сидящие поближе к дверям часто выходят наверх посмотреть, что там происходит.

Наконец они сообщили, что стало тихо. Взрослые выходят, бегут домой и приносят своим поесть. Будто нельзя в такое время обойтись без завтрака!

Мама с папой тоже пошли домой.

Вскоре мама вернулась заплаканная. Сказала, что мы можем отсюда выйти: больше, видимо, бомбить не будут. Советские войска отступают, город вот-вот займут гитлеровцы. Это большое несчастье, потому что они страшные звери и яростно ненавидят

евреев. Кроме того, папа активно работал при Советской власти. Он адвокат. Ему еще в сметоновское время не раз угрожали мезтью за то, что он защищал в судах подпольщиков-коммунистов, за то, что принадлежал к МОПРу.

Что же с ним сделают оккупанты?

Мама приводит нас домой. Успокаивает, говорит, что фашисты не смогут с ним ничего сделать, потому что мы уедем в глубь страны, куда они не доберутся. Папа уйдет в армию, а когда кончится война, мы все вернемся домой.

Мама собирает каждому по небольшому свертку белья; к ним привязывает наши зимние пальто.

Ждем папу. Он пошел за билетами.

По улице, по направлению к Святым воротам, мчатся советские танки, автомашины, орудия.

Уже прошло несколько часов, а папы все еще нет. Очевидно, трудно достать билеты: все хотят уехать. А может, с ним что-нибудь случилось? Странно, перед войной я никогда не думала, что с человеком может что-то случиться. А сейчас война и все иначе...

Уже меньше машин проезжает. Слышна стрельба. Нельзя больше ждать, надо пробираться на вокзал, к папе.

Берем по свертку и выходим. Перебегая от одной подворотни к другой, мы в конце концов добираемся до вокзала. Но здесь нас ничего хорошего не ждет; множество куда-то спешащих, громко разговаривающих людей и — грустная весть, что последний поезд ушел несколько часов тому назад. Кто-то добавляет, что и его разбомбили сразу же за городом. Больше поездов не будет.

Мы обошли все уголки вокзала, но папы нигде не нашли. Только незнакомые люди, толпами набрасывающиеся на каждого, одетого в форму железнодорожника. Они требуют поезда, а железнодорожники утверждают, что поездов нет.

Одни все же надеются дождаться поезда, другие собираются идти пешком: может, по пути подберет какая-нибудь машина. Мама вспоминает, что и папа говорил о машине. Пойдем.

Мы тронулись вместе с другими. Солнце палит. Хочется пить, и очень трудно идти. А отошли так мало — даже город еще виден.

Рувик просит остановиться, отдохнуть. Мама забирает у него сверток, но это не помогает — он все равно хнычет. А на руки пятилетнего мальчика не возьмешь. И Раечка, хоть на два года старше, ненамного умнее — тоже ноет. И мне очень хочется отдохнуть, но я молчу.

Мы сели. Другие, более сильные, обгоняют нас.

Когда мы немного отдохнули, мама уговорила малышей

встать. Тащимся дальше. Но недолго: они опять просят отдохнуть.

Сидим. На этот раз уже не одни: недалеко отдыхают еще несколько семей.

Собираемся вместе и идем дальше. Нас обгоняют переполненные машины. Взять нас не могут, но советуют торопиться, так как гитлеровцы уже совсем близко от города. А как торопиться?

Что делать? Одни считают, что надо идти: лучше умереть от усталости или голода, чем от руки фашиста. Другие уверяют, что немцы не так уж страшны...

Дети просятся домой. Мира говорит, что надо идти дальше. Я молчу. Дети плачут. Мама видит, что многие возвращаются, и тоже поворачивает назад.

Дворник рассказывает, что приходил папа. Передал, что ищет машину.

Мы снова дома. Комнаты кажутся чужими. В сердце пусто. Слоняемся из угла в угол, стоим у окон. Все мертво, словно в городе остались только пустые дома. Даже кошка не перебегает улицы. Может, мы на самом деле одни?

На тротуарах стоят пустые автобусы. Их здесь поставили во время первой тревоги. Как странно, что с того времени прошло всего полтора дня.

Глухая тишина. Только изредка в нее врываются несколько одиночных выстрелов, и снова тихо... По улице, гонясь за красноармейцем, пробегают несколько юнцов с белыми повязками. Один продолжает преследовать, а остальные выбивают окно магазина рядом с кинотеатром «Казино» и тащат оттуда большие ящики. Жутко стучат в тишине шаги грабителей.

Стемнело. Мама запирает дверь, но лечь мы боимся. Даже не хочется. Только Рувика с Раечкой мама, нераздетых, укладывает в кабинете на диван. Мы с Мирой стоим у окна, глядя на темные стены домов.

Что будет? Мне кажется, что я боюсь больше всех. Хотя и мама какая-то другая, растерянная. Только Мира кажется прежней.

Около полуночи по улице проносятся мотоциклисты. Гитлеровцы!

Рассветает. Едут танки! Чужие! На многих полотнища с грозно чернеющим пауком — фашистской свастикой.

Всю улицу уже заполнили машины гитлеровцев, их мотоциклы, зеленая форма и гортанная речь. Как странно и жутко смотреть на этих пришельцев, по-хозяйски шагающих по нашему Вильнюсу...

Не надо было возвращаться...

А папы все нет.

Гитлеровцы приказали открыть рестораны и кафе, но обязательно с надписью: "Für Juden Eintritt verboten". «Juden» — это мы, и оккупанты считают нас хуже всех других: "Евреям вход воспрещен". Надо подойти, выбить стекло и разорвать эту ничтожную бумажонку!

Выйти из дому страшно. Очевидно, не нам одним. На улице одни только гитлеровцы да юнцы сбелыми повязками.

Мира уверяет, что надо пойти в школу за ее аттестатом и остальными нашими документами — там их могут уничтожить. Идти должна я: меня, маленькую, никто не тронет. А я боюсь и вообще не понимаю, зачем это нужно. Но мама поддерживает Миру. Документы нужны. А Мире уже семнадцатый год: ее могут остановить, спросить паспорт. Придется идти мне. Для большей безопасности мама велит надеть школьную форму и даже форменную шапочку.

У ворот оглядываюсь. Сколько фашистов! А если кому-нибудь из них придет в голову остановить меня?.. Но, к счастью, они меня даже не замечают.

С дрожащим сердцем иду по улице. Стараюсь ни на кого не смотреть и считать шаги. В форменном шерстяном платье жарко.

Пересекая улицу Гедиминаса, незаметно оглядываюсь. Уйма машин и военных. Зеленая, коричневая и черная форма. Один прошел перед самым носом. На рукаве повязка со свастикой.

Наконец — школа. В ней беспорядок, грязь. На лестнице мне преграждает путь девятиклассник Каукорюс.

— Чего пришла! Марш отсюда!

Прошу, чтобы пропустил. Но он срывает у меня с головы форменную шапочку.

— Вон! И не смейди тут в нашей школе!

Поворачиваюсь назад и сталкиваюсь с учителем Йонайтисом. Боясь, чтобы и он меня не обругал, спешу мимо. Но учитель меня останавливает, подает руку и спрашивает, зачем пришла. Идет со мной в канцелярию, помогает разыскать аттестат и метрики. Провожает назад, чтобы Каукорюс снова не прицепился. Обещает вечером прийти.

Свое слово он сдержал. Мама даже удивляется: малознакомый человек, только учитель, а разговаривает как близкий родственник, даже предлагает свою помощь.

В Шнипишках был погром. Бандиты зажгли костер, пригнали раввина и еще несколько бородатых стариков, приказали им собственноручно бросить в огонь Пятикнижие, которое вытащили из синагоги. Заставили стариков раздеться и, взявшись за руки плясать вокруг костра и петь «Катюшу». Затем им палили и

выщипывали бороды, избивали и снова заставляли плясать.

Неужели это правда? Неужели можно так издеваться над человеком?

На улице Наугардуко тоже был погром.

Кроме того, оккупанты повесили за ноги несколько человек. Кто-то донес, что они пытались эвакуироваться в глубь Советского Союза, но не смогли и поэтому вернулись.

А если дворник и на нас донесет? Ведь, наверное, догадывается, куда мы уходили из дому.

На улицах вывесили приказ: коммунисты и комсомольцы обязаны зарегистрироваться. Те, кто знает коммунистов, комсомольцев и членов МОПРа, избегающих регистрации, должны немедленно сообщить в гестапо.

Я пионерка. Но о пионерах в приказе ничего не сказано. Мама говорит, что все равно не стала бы меня регистрировать. Но пионерский галстук все равно надо куда-то деть. Может, вымазать в саже? Ни за что! Мне его в школе так торжественно повязали, я дала клятву, и вдруг — в саже! Нет! Договорились вшить его в папин пиджак, под подкладку. Пока мама шила, я играла с детьми: пусть не видят. Маленькие еще, могут выболтать.

Папин мопровский значок мама спрятала у нас на чердаке. Нам велела просмотреть все папины дела, особенно подзащитных коммунистов. Если эти папки найдут, нас расстреляют.

Между прочим, эти дела очень разные, иные даже интереснее книг. Такие откладываю в сторону, тщательно прячу: потом прочту еще раз.

На улицах висит еще один приказ: в городе должен быть порядок и спокойствие. В качестве заложников взято сто человек. В случае малейшего беспорядка или непослушания все заложники будут расстреляны.

Оккупанты ведут себя так, словно собираются надолго обосноваться. Вводят свои деньги — марки. Милостиво оставляют временно в обращении и советские рубли, зато приравнивают рубль только к десяти пфеннигам. Выходит, десять рублей — это всего одна марка.

Вывесили новый приказ: все, кроме немцев и «фольксдойче», обязаны сдать радиоприемники. За попытку спрятать их и слушать советские или заграничные передачи — смерть!

Мама с Мирой завернули приемник в скатерть и унесли.

На освободившийся столик из-под радио я положила свой альбомчик стихов, дневник, карандаши, поставила чернильницу. Теперь и у меня, как у взрослых, будет свой письменный стол.

Уже несколько дней гитлеровцы ходят по квартирам и проверяют, как этот приказ выполняется. Вчера были и у нас. Не

найдя радиоприемника, забрали папину пишущую машинку и телефон. У соседей тоже забрали телефоны, велосипеды и машинки.

Сегодня приходила Гаубене. Рассказала, что Саломея Нерис "убежала к русским". А могла, говорит она, спокойно жить, если бы только писала стихи и не вмешивалась в политику. Как она, Гаубене, уговаривала поэтессу не высказываться за вступление Литвы в Советский Союз, не ездить с делегацией в Москву!

Я всегда думала, что Гаубене — необыкновенный человек, раз она знакома с такой поэтессой, как Саломея Нерис. А теперь вижу, что ошиблась. Гаубене, наверно, любит дружить со всеми, кто известен. С какой гордостью она рассказывает, что у нее живет немецкий офицер! Между прочим, он хотел бы купить натуральный кофе. В Германии такого кофе уже давно нет. Хотел бы купить и сборник стихов Гейне. В Германии Гейне запрещен (оказывается, он тоже "Jude"). А жилец Гаубене считает его лучшим поэтом и хотел бы иметь сборник его стихов.

Мама отдала и кофе, и Гейне. Гаубене обещала принести за это деньги.

Фашисты снова ходят по еврейским квартирам. Иногда одни, иногда "законности ради" пригоняют и дворников. Описывают мебель. Уходя, строго предупреждают, чтобы все стояло на месте, нельзя ни вывозить, ни продавать. Если исчезнет хоть один стул, расстреляют всю семью.

Но если где-нибудь видят особенно красивую мебель, то вывозят, даже не описав. Грабители!

Еще и двух недель не прошло со дня оккупации, а как все изменилось.

В городе снова вывешены приказы: все «Juden», взрослые и дети, обязаны носить знаки: десятисантиметровый квадрат из белого материала, на нем желтый круг, а в нем буква «J». Эти знаки надо пришить к верхней одежде, на груди и спине.

Оккупанты нас даже не считают людьми, клеймят, как скот. С этим ни в коем случае нельзя согласиться! Неужели никто не осмелится воспротивиться?

Мама велит меньше рассуждать и помогать шить эти знаки. Она разрезает желтую подкладку старого покрывала, и мы беремся за работу. Приходят несколько соседок, у которых нет желтого материала.

Работа не ладится: то слишком широко, то криво. Никто не разговаривает.

Уходя, одна соседка заявляет, что эти знаки надо носить с гордостью. Нашла чем гордиться... Клеймом. По крайней мере, я с ними на улицу не выйду: стыдно встретить учителя или даже

подругу.

Есть и другое распоряжение гитлеровцев: все «Judен» обязаны сдать свои деньги, украшения, золотые изделия и прочие драгоценности. Можно оставить себе только тридцать марок, то есть триста рублей.

Пиявки! Очевидно, в их проклятом гестапо сидит какой-то дьявол, который специально придумывает для нас новые беды.

Знаки и конфискация денег — это еще самые маленькие беды. Они убивают безвинных! Вооруженные патрули задерживают на улицах мужчин и гонят в Лукишкскую тюрьму.

Мужчины боятся выходить на улицу. Но это не спасает: бандиты ночью врываются в дома и забирают даже подростков.

Сначала все верили, что из тюрьмы арестованных везут в Понары, в рабочий лагерь. Но теперь мы уже знаем: никакого лагеря в Понарах нет. Там расстреливают! Там только цементированные ямы, куда сбрасывают трупы.

Не может быть! Ведь это ужасно!!! За что, за что убивают?!

"Хапуны" — так их прозвали — не перестают свирепствовать. В каждой квартире сделаны укрытия, в которых мужчины прячутся днем и ночью.

Может, и неплохо, что нет папы. Может, он там... Воюет на фронте и освободит нас. Когда учитель Йонайтис рассказывает новости Московского радио (он свой приемник не сдал, а спрятал в деревянном сарайчике), мне все кажется, что он сообщит что-нибудь и о папе. А мама этого как раз очень боится. Она, конечно, тоже хочет узнать о папе, но не по радио, потому что тогда нас расстреляют как семью красноармейца.

А может, и не расстреляют? Ведь живут же семьи советских офицеров. Заперли их в двух домах по улице Субачяус и держат. Правда, неизвестно, что с ними будет дальше. Фашистов вообще не поймешь: во всем мире военнопленных не убивают, а они в Понарах расстреляли четыре тысячи.

Расстреляли... Это значит, что людей согнали к ямам. На каждого наводили дуло винтовки, из которой вылетали маленькие пули, врезались в сердце, и люди падали мертвыми. Нет, не каждому попадали сразу в сердце или в голову, многих только ранили, и они погибали в страшных муках. Оборвали тысячи жизней, не стало столько молодых веселых парней, а названо все это одним словом: «расстрел». Раньше я никогда не представляла себе смысла этого слова. Да и «фашизм», "война", «оккупация» казались только словами в учебнике истории.

И теперь, наверно, люди других городов и стран, где нет войны и фашизма, тоже не понимают, не представляют себе настоящего смысла этих слов. Поэтому надо записывать в

дневник все, что здесь творится. Если останусь жива, сама расскажу, если нет — другие прочтут. Но пусть знают! Обязательно!

Опять новость: для нас вводятся новые знаки: не квадрат, а белая повязка, в центре которой шестиконечная звезда. Повязку надо носить на левой руке.

Мне все время хочется есть. Мы с Мирой об этом говорим только между собой, чтобы не огорчать маму, а малыши постоянно жалуются. Мама переживает и, деля хлеб на порции, часто вздыхает. Себе, конечно, берет меньше всех. Это потому, что по карточкам дают очень мало, и только в нескольких, специально для нас отведенных магазинчиках. Очереди громадные. Иногда, простояв целый день, приходится возвращаться с пустыми руками. Едим то, что маме удастся выменять у крестьян. Я очень соскучилась по молоку.

На днях учитель Йонайтис принес кусочек сала. Конфузясь, он долго объяснял, что получил по карточке, а ему не нужно: взрослый человек может обойтись без жиров, а у нас дети; растущему организму жиры необходимы. Мама растрогалась, а мне было стыдно, что нам приносят подавание. Но учитель настоял на своем. Малыши получили к ужину по ломтику сала, а нам достались вкусные шкварки к картошке.

Но хорошее настроение от вкусного ужина омрачила грустная весть: в школе вывешен приказ, что все комсомольцы (Ю. Титлюс, А. Титлюте и другие) и все евреи из школы исключены.

Значит, я больше не ученица... Что же буду делать зимой? Неужели я останусь недоучкой?

Мы договорились с Мирой поочередно спать на балкончике, выходящем во двор. Это потому, что наша квартира, особенно спальня, находится в стороне от ворот, и мы никогда не слышим, как стучатся "ночные гости". Просыпаемся, когда они уже во дворе. Если спать на балконе, можно услышать сразу.

Начинаю "лагерный ночлег" я. Ночь теплая. В небе бесконечно много звездочек. И все мерцают. Теперь всегда буду спать здесь: очень уж хорошо. А описать все это я бы могла? Нийоле и Бируте хвалят мои стихи, но ведь они сами понимают не больше меня. И Люда хвалит. Но как она сама пишет:

О-го-го

Там, у Лимпопо,

Жил старый донжуан —

Крокодил из Нила.

А если все же описать эту ночь?

Маленькие звездочки мерцают,

Удивленно смотрят с вышины.
Видят ли, как люди тут страдают
И как ночи эти им страшны?

Плохо. Завтра сяду и хорошенько подумаю, чтобы стихотворение получилось настоящим. В нем должно слышаться дыхание этой ночи. Только хорошо бы без войны. Уместны ли в стихах ужасы? Гораздо лучше писать о весне, о веселом ручейке...

Стучат! В наши ворота!!!

Бегу в спальню, бужу маму. Вместе с Мирой помогаем одевать детей. Рувик пробует хныкать, но сразу перестает, понимает, что нельзя.

Уже стучат кулаками в нашу дверь! Мама идет открывать. Мы выходим за ней.

В переднюю вваливаются вооруженные гестаповцы. Расходятся по комнатам. Один остается сторожить нас. Приказывает не шевелиться, иначе будет стрелять.

Они роются в шкафах, копаются в ящиках. Допытываются, где папа. Мама говорит, что его забрали в первые дни, сразу же после заложников. "Неправда! — зарычал самый злой, очевидно начальник. — Он, наверно, удрал с большевиками! Все вы большевики, и скоро вам будет капут!"

И снова ищут, кидают, разбрасывают. Мама дрожит и тихо велит нам следить, чтобы они не подсунули оружие или прокламации. Сделают вид, будто нашли, и расстреляют. А как следить, если запрещено даже шевельнуться?

Ничего не найдя, еще раз пригрозив, что скоро нам будет «капут», гестаповцы убираются.

Мы уже не ложимся. У мамы не выходят из головы слова гитлеровца, что папа, наверно, удрал с большевиками. Может, они что-нибудь знают? Может, папа и вправду там, жив, воюет!

На балконе я больше спать не буду. А о стихотворении и звездах никому не расскажу...

В «гебитскомиссариат» вызвали членов «юденрата», то есть "совета евреев". (Этот совет создан совсем недавно из еврейской городской знати. Люди, которые знали прежних немцев, уверяют, что с такими уважаемыми личностями они, наверное, будут считаться). Так вот, «юденрату» сообщили, что на евреев города Вильнюса налагается контрибуция — пять миллионов рублей. Эта сумма должна быть внесена до девяти часов следующего дня. В противном случае уже в половине десятого начнется уничтожение всех евреев города. Указанную сумму можно внести не только наличными, но и золотом, серебром и драгоценностями.

Мама собрала все деньги, взяла кольца, цепочку и пошла.

Я стою на кухне у окна и плачу: страшно подумать, что завтра надо будет умереть. Еще так недавно училась, бегала по коридорам, отвечала уроки, и вдруг — умереть! А я не хочу! Ведь еще так мало жила!.. И ни с кем не попрощалась. Даже с папой. В последний раз видела его выходящим из убежища, из подвала противоположного дома. Больше не увижу. Вообще ничего не буду видеть и чувствовать. Меня не будет. А все остальное останется — и улицы, и луга, даже уроки... Только меня там не будет — ни дома, ни на улице, ни в школе... не ищите — нигде не найдете... А может, никто и не станет искать? Забудут. Ведь это для себя, для своих близких я «личность». А вообще, среди тысяч людей я песчинка, одна из многих. Обо мне, всех моих стремлениях и мечтах, может, кто-нибудь когда-нибудь упомянет одним словом — была. Была и погибла одним летним днем, когда люди не смогли собрать требуемой оккупантами контрибуции. А может, эти обстоятельства тоже забудут. Ведь живые не слишком часто вспоминают об умерших. Неужели этой умершей буду я?..

Кто-то идет по коридору... Учитель Йонайтис. А я и не слышала, когда он зашел. Встал рядом, положил руку на плечо и молчит. А я не могу успокоиться.

Вернулась мама. Предупредила, что будет во дворе «юденрата» ждать результатов подсчета денег. Там очень много народу.

Йонайтис опустошил свой бумажник и попросил маму отнести и его деньги. А мама не берет: четыреста рублей, наверно, вся зарплата. Но Йонайтис машет рукой: он как-нибудь обойдется, а эти деньги, может, спасут хоть одну человеческую жизнь.

Вскоре мама вернулась. Все разошлись, ничего не узнав: деньги еще не сосчитали, а ходить можно только до восьми. (Между прочим, мы и в этом являемся исключением, потому что остальным жителям города можно ходить до десяти.) Члены «юденрата» будут считать всю ночь. Похоже на то, что пяти миллионов нет...

Настала последняя ночь... Йонайтис остается у нас ночевать. Мама стелет ему в кабинете, а мы, как обычно, ложимся в спальне.

Малыши уснули. Как хорошо, что они ничего не понимают. Ночь тянется очень медленно. И пусть. Если бы время сейчас совсем остановилось, не наступило бы утро и не надо было бы умереть.

Но рассвело...

Мама бежит в «юденрат». До начальства, конечно, не дошла.

Но люди рассказали, что собрано всего три с половиной миллиона, которые только что унесли в "гебитскомиссариат".

Продлят ли срок? Может, вчера еще не все знали и принесут сегодня?

Мама дала каждому по свертку с бельем.

Ждем...

На лестнице слышались шаги инженера Фрида (он живет в соседней квартире и является членом "юденрата"). Мама постучалась к ним. Вернулась радостная: оккупанты приняли контрибуцию даже не считая.

Значит, будем жить!

Все прячут у знакомых литовцев или поляков свои вещи: фашисты могут их тоже описать, как описали мебель. Тогда не на что будет жить.

Мама увезла к учителю Йонайтису почти все папины книги, пальто, костюмы, туфли и два новых шелковых одеяла. Больше не решилась: учитель холост, и, если найдут у него женскую или детскую одежду, это покажется подозрительным. Между книгами я сунула и первую тетрадку своего дневника.

Люди ищут работу, потому что работающие получают удостоверение с немецким орлом, и «хапунь» их не тронут.

Многие уже работают на ремонте дорог, на аэродроме и еще где-то. Но оказывается, что это почти не помогает. Бандиты разрывают предъявляемое им удостоверение и все равно уводят.

Как они самовольничают! А пожаловаться некому. И сопротивляться нельзя. Одна женщина не давала увести мужа. Ее застрелили на месте, у него на глазах...

Сегодня 21 июля. Месяц с начала войны и мой день рождения. Мне четырнадцать лет. Поздравляя и желая долгих лет, мама расплакалась. Сколько раз я слышала это обычное пожелание и ни разу не обратила внимания, какое оно значительное...

По случаю дня рождения мама предложила надеть голубое шелковое платье. Оно без знаков. Какой у меня непривычно красивый вид! Только жаль, что волосы слишком длинные.

Вдруг в голову пришла замечательная мысль.

Я попросилась к соседке, тете Берте, чтобы показать ей платье. А сама — руку в шкаф (там под бельем лежат деньги) и — шмыг в дверь. Будто предчувствуя, мама кричит вдогонку, чтобы я не смела без знаков выходить на улицу.

А именно это я и собираюсь сделать. Вприпрыжку сбежав с лестницы, выскакиваю за ворота и смело, не оглядываясь, поворачиваю на Большую улицу. Захожу в парикмахерскую. Только теперь вздрагиваю: что я сделала?

Мне предлагают сесть. Стараюсь казаться спокойной и не смотреть на парикмахера. А он, повязывая белую салфетку, улыбается мне в зеркале. Узнал! Смотрю на него, вытаращив глаза, и не знаю, как сделать вид, что не понимаю этого. Опускаю голову, чтобы не видно было лица. Сердце тревожно бьется, а парикмахер, как назло, копается. Может, убежать? Нельзя... Только бы не зашел гитлеровец!

Наконец постриг! Расплачиваюсь и выбегаю.

Шагаю назад. Сейчас я совершенно спокойна, даже не понимаю, почему я в парикмахерской так дрожала. Никто и не смотрит на меня.

От мамы досталось. Пришлось пообещать больше не повторять таких глупых проделок. Мама пришила знаки ко всем платьям...

Нам запрещено ходить по тротуарам. Мы обязаны ходить по мостовой, придерживаясь правой стороны. Между прочим, нам также нельзя пользоваться автомашинами, автобусами и т. п. Даже извозчики должны на видном месте повесить табличку, что евреев не обслуживают.

Опять ввели другие знаки. Та же звезда, но уже не на повязке, а на квадрате из белого материала, который должен быть пришит к верхней одежде, спереди и сзади.

Можно подумать, что какой-то фашист не хочет идти на фронт и своими бесконечными выдумками старается доказать, что он и здесь очень нужен.

Гестапо снова вызвало членов «юденрата». Что теперь придумают? Неужели еще одна контрибуция?

В большой тревоге ждем соседа.

Вернулся он под вечер.

Оказывается, его и еще одного члена «юденрата» отпустили, а остальных арестовали. Почему? Чем те не угодили и почему выпустили этих?

Жаркое августовское воскресенье.

Около полудня мы услышали шум.

Подбежали к окну. Пьяные гитлеровцы избивают черноволосого парня. Гонят его к ратуше, там ставят лицом к стене и бьют. А он, наверное, ждет выстрела, потому что странно вздрагивает.

Собралась толпа. Один фашист объясняет, что этот «Jude» только что на улице Гедиминаса выстрелил в солдата благородного вермахта. За это ответят все «Juden». Один солдат великого рейха дороже тысячи таких, как этот. Пусть каждый, кто только хочет, бьет преступника и этим присоединится к истреблению врагов немецкого народа.

Одни ухмыляются, довольные, другие проходят мимо, почти не скрывая своего возмущения.

Гитлеровцы останавливают проезжающую машину, вталкивают свою окровавленную жертву и уезжают.

Пораженные, окаменели мы у окна.

Ночь...

Прогремел выстрел. Кто-то вскрикнул. Бегут. Кричат: "Хальт!"

Будим малышей. Сердце странно болит. Трясусь как в лихорадке. Снова гремит выстрел. Крики, топот. Людей много, очень много.

Открываем форточку. Ничего не видно. Прохладная звездная ночь. Тихо. Где-то в стороне вокзала гудит паровоз. И снова ни звука... словно ничего не было.

Мама укладывает детей. Мы сидим...

Вдруг в тишину врывается страшный крик. Неужели снова начинается? Голоса где-то рядом, совсем близко. Но подойти к окну мама не разрешает: могут заметить. А меня тянет: неизвестность еще страшнее. Спрятавшись за портьеру, подглядываю. Внизу на улице гитлеровцы выстраивают людей, которых гонят с улицы Месиню.

Плачущие женщины с полуголыми, завернутыми в одеяла детьми... Мужчины, сгорбившиеся под тяжестью узлов и чемоданов... Дети, вцепившиеся в одежду взрослых... Их толкают, бьют, гонят. Вспыхивает карманный фонарик и освещает испуганные лица. Фонарик гаснет, и снова двигаются только силуэты...

В наши ворота они еще, кажется, не стучатся, хоть моментами мерещится, будто они уже поднимаются по лестнице.

Угнали... Снова тихо.

Начинает светать.

Оказывается, этой ночью угнали всех жителей улиц Месиню, Ашменос, Диснос, Шяюлю, Страшно и некоторых других.

Люди говорят, что с этих улочек выселяют и литовцев, и поляков. Для нас там будет гетто.

Что такое гетто? Как там живут?

В пятницу вечером город запрудили патрули.

Снова что-то придумали... Как назло, и Ионайтиса сегодня не было. Мама попросила бы его остаться у нас ночевать.

Я вызвалась пойти и позвать его. Мама махнула рукой — уже больше восьми. Говорю — пойду без знаков. Но она и слышать не хочет. А все же другого выхода нет. Пойду.

Мне совсем не страшно: кому взбредет в голову, что в такое время без знаков по тротуару может шагать еврейка?

Улица Гележинкелю. Оглядываюсь, не следит ли кто за мной.

Вхожу. Стучусь. Тишина. Стучу сильнее. Никакого ответа. Его нет! Что делать?

Надо ждать.

Забираюсь в угол, за дверь. Ловлю каждый доносящийся с улицы звук. От стука сапог цепенею, а от спокойного скрипа ботинок веселее бьется сердце. Но шаги, приблизившись, удаляются, а Йонайтиса все нет. Как простоять целую ночь? Могут заметить. И мама будет волноваться...

Вдруг появляется Йонайтис!

Узнав, зачем я пришла, очень огорчается: к сожалению, уже без пяти десять. Идти нельзя...

Он стелет мне на софе, закрывает ставни и велит спать. Но я не могу уснуть: очень волнуюсь, что мама не знает, где я.

Разбуженная, я не сразу поняла, где нахожусь. Йонайтис нагнулся ко мне:

— Я пойду узнаю, что у вас слышно, а ты закройся и поспи еще.

Он вернулся очень скоро. У нас не был. Не пропускают. На улице Руднинку строят забор. Там будет гетто. Уже гонят людей.

— Что будешь делать? — спрашивает он меня.

— Не знаю. А как вы считаете?

— Он тоже не знает.

— Если не хочешь идти — оставайся у меня.

А как я здесь буду жить одна, без мамы? Нет. Пойду.

Йонайтис освобождает свой портфель и кладет туда сушеный сырок и баночку варенья. Опустошает бумажник и говорит: "Спрячь хорошенько". Из желтой бумаги вырезаем знаки, пришиваю: сейчас уже нельзя без них.

Выходим. Йонайтис тоже идет по мостовой: не хочет, чтобы я себя чувствовала униженной... Если закрыть глаза и представить себе, что иду в школу? Ведь похоже: портфель, ученическая форма, рядом идет учитель... Нет, не надо закрывать глаза...

На улице Руднинку, возле костела, сколачивают забор. Через оставленный проход солдаты гонят людей. Подходим. Йонайтис подбадривающе пожимает руку, и я ухожу за забор.

Куда идти? Может, еще попытаться попасть домой? Не выпускают. Кругом строят заборы.

Гонят все новых и новых людей. Растерянные, усталые, они сбрасывают с себя узлы и садятся тут же, на улицах, во дворах. Везде полно народу. Верчусь там и я, захожу во дворы, но мамы нигде нет. И знакомых не видно.

Стою у входа, чтобы видеть всех вновь пригоняемых. Спрашиваю, с каких улиц. Со всех есть, только не с нашей. Какая-то женщина уверяет, что с Немецкой улицы всех угнали на

Лидскую. Бегу. Но там строят новый забор: эта улица остается за пределами гетто. Людей много, но моих и среди них нет.

Снова блуждаю, расспрашиваю. Кто-то предполагает, что они могут быть во втором гетто, где-то в районе улочек Стиклю и Гаоно.

Иду к воротам и прошу часового выпустить. Уверяю, что не убегу, только перейду во второе гетто, где находится моя мама. Но часовой даже не слушает. Повторяю свою просьбу, а он с размаху так ударяет меня, что еле удерживаюсь на ногах. Неожиданно замечаю одного девятиклассника из нашей школы. С винтовкой, наверно, тоже «трудится». Как можно почтительнее прошу помочь мне перейти во второе гетто. "Пошли!" — кричит он.

Выхожу. Он ведет меня, почти уперев штык в спину, как арестованную. Пусть. Подходим к улице Стиклю. Забор уже довольно высокий. "Полезешь?" — "Да, да!" — спешу заверить. Он мне помогает взобраться на забор, и я лечу вниз.

Здесь толчея еще больше. Улочки уже, дворы меньше и темнее. Людей масса, но с нашей улицы — опять ни одного, словно все жители Немецкой улицы сквозь землю провалились.

В одном дворе я неожиданно увидела тетю Пране. Что она здесь делает? Оказывается, она тут жила, а теперь переезжает на другую квартиру, потому что здесь будет гетто. На телегу уже погружен весь скарб. Я ее попросила сходить к нам и, если мама еще дома, передать, где я.

Тетя Пране предложила остаться в ее квартире. А зачем мне квартира? Ах да, ведь я теперь буду здесь жить. Но как жить без кровати и вещей? Тетя Пране оставила мне одну табуретку. Села и сижу в пустых, чужих комнатах...

Вскоре зашел какой-то мужчина. Осмотрелся и позвал своих. Вошла большущая семья — с детьми, узлами, даже с детской коляской, нагруженной подушечками и кухонной утварью. Ничего не сказав, они заняли одну комнату.

Пришли и другие. Заняли первую, «мою» комнату. Чем ближе вечер, тем чаще разные люди отворяют дверь. В ту комнату уже втиснулись три семьи, в эту — две. Мне велели выйти на кухню: я одна, а на этом месте может лечь целая семья. Я вышла. Оказывается, кухня уже тоже занята. Села у дверей...

Стемнело. Очень душно. Но выйти во двор боюсь: останусь совсем без места.

Люди собираются лечь спать. Пальто и подушки отдают детям, а сами ложатся прямо на пол. Какой-то старик ворчит, что в могиле, наверно, просторнее.

Мне не хочется испачкать форму, поэтому не ложусь.

Холодно. Ноги затекают. Спящие в комнате часто выходят во двор и каждый раз задевают меня. А ночь такая длинная...

Наконец рассвело.

Снова брожу в поисках мамы. Одни полагают, что мои все-таки в первом гетто, другие уверяют, что с нашей улицы всех угнали в тюрьму. Не может быть, что я осталась одна. Они найдутся!

И снова ищу.

Уже стемнело. Захожу в какой-то дом, поднимаюсь на второй этаж и сажусь в темной передней на пол. Никто на меня не обращает внимания, никто не гонит.

Кладу под голову портфель и ложусь. Нос щекочет приятный и очень знакомый запах. Оказывается, он идет из портфеля. Как я сразу не догадалась, что это пахнет варенье! А я со вчерашнего утра ничего не ела!

Сую руку. Осколки! Баночка разбилась. Весь портфель внутри облеплен клубникой. И сало липкое. Все равно очень вкусно. Только надо есть осторожно, чтобы не проглотить осколок стекла. Сажу в темноте и пихаю в рот все вместе — хлеб, сало, варенье, сыр. Когда ничего не осталось, я снова ложусь.

Проснувшись, вышла на улицу. Здесь вывешены рукописные объявления: организуется геттовская полиция. Желающие регистрируются и т. д.

Оказывается, желающие нашлись. Какие-то крикуны, получив повязки, снуют, изображая больших начальников.

Своих все не нахожу, хотя уже обошла все дворы и даже по несколько раз... Люди советуют перейти в первое гетто — может, они все-таки там. «Начальство» как раз собирается обменяться с первым гетто такими, как я, заблудившимися.

Нас немало. Новоиспеченные полицейские всех выстраивают, считают и велют не расходиться. Сами куда-то исчезают и долго не появляются. Вернувшись, снова считают. Наконец ведут. Кроме них нас сопровождает вооруженная охрана.

У первого гетто долго не открывают ворот. Стоим и дрожим в страхе, что угонят в тюрьму. А бежать обратно охранники не разрешают.

Наконец ворота раскрываются, и за ними вижу живую, улыбающуюся маму! И Миру! И детей! Оказывается, тетя Пране сдержала слово и передала, где я. А об обмене потерявшимися мама тоже знала.

Радости и разговорам нет конца. Теперь даже эти дни одиночества и поисков уже не кажутся такими страшными.

Мама тоже пережила немало.

В тот вечер, не дождавшись ни меня, ни Йонайтиса, она

решила, что меня узнали и арестовали. Всю ночь проплакала. А утром, увидев строящийся невдалеке забор, совсем пришла в отчаяние.

Неожиданно пришла тетя Пране, и мама решила добровольно идти в гетто. Как раз в это время в переднюю ввалились солдаты. Приказали за пять минут собраться и взять с собой лишь столько вещей, сколько смогут нести. Мама набросала в детскую ванночку наши платья и пальто, а из наволочек сделала себе и Мире рюкзаки и напихала в них белье. Даже детям дала по маленькому рюкзаку, узелку и портфелю с привязанными к нему ботинками.

Труднее всего было уйти... А солдат ее медлительность бесила. Увидев, что угрозы не помогают, один вытолкнул на лестницу Раечку с Рувиком. Мама выбежала за ними. Только в дверях еще раз оглянулась.

Во дворе уже стояли соседи, тоже нагруженные узлами и зимними пальто. Кто-то сказал, что пальто не надо брать: до зимы война кончится.

Погнали на улицу Руднинку. А мама так рвалась в то гетто! Но хорошо, что она здесь: тех, кого с нашей улицы собирались вести во второе гетто, угнали в Лукишкскую тюрьму: оба гетто были уже переполнены. И согнанных на Лидскую улицу "во исправление ошибки" тоже повели в тюрьму. А там было около шести тысяч человек. Выпустили всего несколько семей хороших специалистов, за которыми пришли их работодатели — оккупанты. Освобожденные из тюрьмы рассказывают жуткие вещи: в камерах так тесно, что даже негде сесть; люди все время стояли прижатые друг к другу. О том, чтобы выйти по нужде, и речи быть не могло.

Мы живем в первом доме от ворот. Руднинку, 16. В нашей квартире стоят несколько кроватей ее бывших хозяев. Они достались старикам и детям. Мы впятером спим на полу в промежутке между двумя окнами. На день постели убираются, иначе не будет прохода. Но и ночью не все помещаются на полу. Одна девушка спит на столе, а другая — прямо в ванне. Одна семья приютилась на кухне. В нашей квартире живут целых восемь семей.

Понемногу исчезает чувство временности. Гетто становится уже знакомым, почти своим. Оно больше второго. Здесь больше улочек: Руднинку, Месиню, Страшуно, Шяулю, Диснос и Лигонинес. А там, кажется, только Гаоно, Жиду, Стиклю.

Ворота нашего гетто с внешней стороны «украшает» большая надпись: "Внимание! Еврейский квартал. Опасность заражения. Посторонним вход воспрещен".

И в нашем гетто с первых же дней образовалась «власть»:

полиция и новый «юденрат» (председатель — член первого «юденрата» А. Фрид). На улицах Руднинку, Лигонинес и Страшно открылись полицейские участки. На Руднинку, 6, в бывшей реальной гимназии, вместе с «юденратом» обосновалась и комендатура во главе с шефом геттовской полиции Яковом Генсасом. Говорят, что он бывший офицер сметоновской армии, работал в Каунасской тюрьме.

Геттовская полиция, наверно, нужна для того, чтобы передавать нам приказы господ властителей и рьяно следить за их выполнением. А эти приказы сыплются один за другим. Во-первых, нужно сдать все деньги и ценности (в который уже раз!), себе можно оставить только триста рублей. Во-вторых, в гетто можно ходить только до девятнадцати часов; затем наступает "полицейский час", то есть запрещенное время. В-третьих, все обязаны продолжать работать там, где работали до переселения в гетто. Однако выходить в город по одному запрещается. Работающие в одном месте идут организованно, всей бригадой. В-четвертых, категорически запрещается ходить без знаков — как в самом гетто, так и за его пределами. (Теперь этот знак — сплошная желтая звезда. Все углы звезды должны быть крепко пришиты к одежде — одна звезда спереди, другая сзади.) В-пятых, запрещено обращаться непосредственно в городские учреждения; все дела решаются через комендатуру геттовской полиции. И так далее и тому подобное.

По приказу оккупантов в гетто открыт «арbeitsamt» — "отдел труда", который обязан регистрировать всех трудоспособных жителей. Теперь, если кому-нибудь в городе нужны рабочие из гетто, работодатели обращаются в гитлеровский «арbeitsamt», тот передает требование геттовскому «арbeitsамту»; последний комплектует бригады.

Начальником геттовского «арbeitsамта» Яков Генсас назначил своего брата Соломона Генсаса, а связным между городским и геттовским отделами труда — какого-то Браудо.

Работающие получают удостоверения — «аусвайс». В них написано, что "Der Jude" такой-то (оставлено место для фамилии и имени) работает там-то (оставлено место для названия учреждения). Тут же сказано, что без разрешения «арbeitsамта» нельзя брать этого еврея на другую работу.

Мама тоже получила работу — в швейной мастерской. Как хорошо, что у нее золотые руки и она умеет шить!

Нам дали хлебные карточки. Но получаем мы по ним невероятно мало. Как говорится, с голоду не умрешь, но и жить вряд ли будешь. Хлеба — 125 граммов в день; на остальные продукты недельная норма: 80 граммов крупы, 50 граммов

сахару, 50 граммов подсолнечного масла и 30 граммов соли. Но ни подсолнечного масла, ни сахара не получаем. Дают только хлеб и черный горох вместо крупы.

Окупанты нам жалеют не только еду, но и бумагу; ввели разноцветные карточки. Желтая карточка — на одного человека, красная — на двух, розовая — на трех, зеленая — на четырех.

Получаемых продуктов, конечно, не хватает, поэтому каждый старается что-нибудь принести, возвращаясь с работы (выменивают на одежду или просто получают от друзей). Но Ф. Мурер из «гебитскомиссариата» это пронюхал и вывесил у ворот новый приказ, гласящий, что вносить в гетто продукты питания и дрова строго запрещается. Охрана ворот, состоящая из одного городского полицейского и нескольких геттовских полицейских, обязана обыскивать каждого входящего в гетто. Найденное конфискуется, а нарушитель передается гитлеровским властям.

Значит, за то, что хочешь внести в гетто кусок хлеба, можешь поплатиться жизнью.

Сегодня в школе первый день учебы... Хотя с двухнедельным опозданием, но занятия все же начинаются. А я здесь.

Наверно, уже был звонок... Все вошли в класс. За моей партией пустое место... И место А. Р. пусто. А почему? Почему нам запрещено прийти в школу и сидеть на уроках? За что нас закрыли здесь и не разрешают выйти в город?

Мы на днях говорили об этом с А. Р. Вспоминали школу, наш класс. Здесь А. Р. выглядит совсем другим. Одежда в пятнах, под ногтями грязно (правда, он работает, но где — не сказал, наверно стесняется). И волосы непривычно короткие. Даже глаза какие-то не такие, тусклые.

Генсас нам преподнес новую выдумку Мурера: ремесленники должны жить в первом, то есть нашем, гетто, а все остальные — во втором. На рабочих удостоверениях ремесленников ставится специальный штампик. У кого штампика нет, обязан переселиться во второе гетто, а живущие в том гетто ремесленники будут переведены сюда.

К счастью, на мамино удостоверение этот штампик поставили: она считается портнихой, шьет что-то из меха.

В нашей квартире один мужчина не является ремесленником. Комендант велит ему спуститься с семьей во двор. Взять с собою вещи.

Там собралось немало людей, все какие-то грустные, вялые. Мне их очень жаль: не успели, бедняги, привыкнуть к одному месту, уже гонят на другое.

Открывают ворота гетто. Там ждут городские полицейские. Они всех уводят...

Увод из нашего гетто неремесленников длится уже несколько дней. Геттовские полицейские вечерами ходят по квартирам и проверяют удостоверения. Не имеющих нужного штампика выпроваживают во второе гетто.

Точных вестей о переведенных нет. Лишь несколько человек получили через кого-то записки, и то очень непонятные. А переведенные сюда из второго гетто (между прочим, их очень мало) уверяют, что к ним за последние дни не привели ни одного человека.

На фронте пока ничего радостного. Правда, из гитлеровской "молниеносной войны" ничего не вышло. Хвастали, что за две недели дойдут до Москвы. Потом так же хвастливо переносили этот срок, даже говорили, что уже находятся в предместьях Москвы. Но все это вранье. Их остановили. И Москвы им, конечно, не видать. Но наступление они возобновили. И Ленинград окружен. Только все равно их побьют!

Йом-кипур. Сегодня этот праздник особенно грустен. Старики постятся, молятся, просят божьей милости. Напрасный труд: если бы был Бог, он не потерпел бы таких ужасов.

Полдень. Внезапно в гетто врываются пьяные солдаты. Люди разбегаются, улочки пустеют. Гитлеровцы по-хозяйски разгуливают, заглядывают во дворы, угрожают, стреляют в воздух. Мама, Мира и другие взрослые нашей квартиры на работе... Что делать? Неужели нас уведут? Возможно. Ведь мы не работаем, не нужны им. Дети смотрят на меня такими глазами, будто я что-нибудь знаю или могу их спасти... А что я могу? Мне самой страшно. Только не подаю вида, успокаиваю их, чтобы не разревелись. Хоть бы скорее пришла мама! Наконец солдаты убралась. Вскоре вернулась мама. Стемнело, и мы легли.

Сквозь сон я услышала какой-то шум. Как будто подъехала машина. Я вскочила и, шагая через спящих, подошла к окну. Хотя оно, как и все выходящие на свободные улицы, забито, через маленькую щелочку виден угол улицы у ворот.

Из подъехавшего грузовика выпрыгивают солдаты. Строятся... Будить или нет? Может, не пугать, ведь они пока никуда не идут, застыли в строю.

Тихо. Город спит. И солдаты окаменели, не шевелятся. Может, всегда на ночь усиливают охрану? Ведь ночи темные — осень.

Снова гудят машины. Сколько в них солдат!

В испуге бужу всех. Поднимается страшная паника. Дети плачут, матери охают, никто не находит своей одежды. И я верчусь полуодетая, дрожа от страха и холода. А солдаты уже стучатся в наши ворота... Они уже во дворе!.. Поднимаются по

лестнице... Стучат!.. Никто не открывает. Они барабанят кулаками. Колотят. Сейчас выломают дверь.

Сосед подкрадывается к двери и говорит, что из этой квартиры всех угнали во второе гетто. Остался только он один, ремесленник с фабрики «Кайлис». Ему, конечно, не верят и велят показать удостоверение. Сосед просовывает его сквозь щелочку в дверях. Солдаты рассматривают, вертят в руках и со смехом разрывают на клочки. Но сами уходят стучаться в соседнюю квартиру.

Снова пробираюсь к окну. Ворота открыты. Из гетто гонят людей. Выстраивают. Все с детьми и узлами. Какой-то мужчина бежит назад. Гремит выстрел...

Всю толпу угоняют по улице Пилимо, а из гетто ведут других. Опять выстраивают...

Мама просит не смотреть в окно, но я не могу. Что с того, что страшно, может, скоро и сама там буду стоять. Мама успокаивает: нас не найдут — сын соседки выходил на лестницу и с той стороны забил дверь досками, а сам влез через окно обратно. Убийцы подумают, что здесь никто не живет.

Но они все равно стучатся! Видно, не поверили... Сейчас выломают. Нет. Смеются: вместо того чтобы искать евреев для Понар, ломаются в какую-то забитую мышиную нору...

Ушли.

От ворот уводят еще одну большую толпу. Солдаты залезают в машины и уезжают.

Тихо, улочка снова дремлет. Высоко, куда мои глаза сквозь щелочку не достигают, светит луна. Она освещает землю. Наверно, и тех, что сейчас плетутся согбенные, угрюмые, грустные. Думают ли о побеге? Наверно. Но это невозможно: охранников много, улицы пусты, ворота заперты.

Тюрьма. Раскрываются большущие тяжелые ворота. Они скрипят: недовольны, что и ночью нет покоя. Бедняг загнали, словно стадо, и закрыли.

Рассветает. Мама собирается на работу. Нам велит ложиться и спать. Но как заснуть, если ясно представляю себе, как там, в тюрьме, сейчас страшно. Люди живут последний день своей жизни. Их много. В камерах, коридорах, даже во дворе. Дождь. А они сидят на своих узлах, прижимая к груди плачущих детей.

Мама вернулась с работы.

...А те в тюрьме все еще сидят.

Ночь. Скоро их выведут.

Уже, наверно, велят строиться. Толкают, бьют.

Широко раскрываются ворота. Они выпускают в последний путь. Подгоняемые плетками, люди идут, идут, не видно конца.

Их много. Солдатам уже надоело избивать.

Наконец все. Ворота смыкаются. Надсмотрщики обшаривают все углы, не остался ли кто. Странно — оставаться в тюрьме тоже запрещается.

Накрапывает дождь. А люди идут. Медленно, еле волоча ноги. Большое похоронное шествие. Люди хоронят сами себя. Но, наверно, не все это понимают.

В одном окне появляется заспанный человек. Его разбудили шаги на пустынной улице. Увидев толпу, человек исчезает. Может, снова ложится, укутывается в мягкое одеяло, зарывается в теплую подушку и засыпает... Потревожит ли его сон мысль, что вот сейчас, когда он сладко дремлет, там, в Понарах, тысячи людей падают в мокрые от дождя и крови глинистые ямы?... Друг на друга, с закинутыми назад руками, перекошенными от страха и боли лицами; мужчины валятся на маленьких детей; молодые женщины, подростки, старики — все вместе, все в одну...

Подумает ли этот сонный человек (почему я так ясно представляю его себе?), подумает ли он, что всего полгода, даже четыре месяца назад все эти угнанные на смерть были учителями, рабочими, просто родителями и детьми! Они были людьми!

А может, этот показавшийся в окне человек скрылся не из равнодушия, а от боли? Может быть, он так же, как и я, очень страдает, хотел бы помочь, но... Может ли один человек разогнать такую вооруженную охрану и спрятать всю эту большую толпу? Не может. И поэтому страдает вдвойне.

Оказывается, этой ночью учитель Йонайтис был возле гетто. Он слышал об ужасах прошлой ночи и побоялся, что гитлеровцы продолжают свою кровавую акцию. Вместе со знакомым, которому удалось на одну ночь получить ночные пропуска, он простоял недалеко от ворот — если нас погонят, может, удастся как-нибудь спасти.

Я записалась в библиотеку. Это бывшая библиотека имени Страшуна, только сильно опустевшая. Гестаповцы вывезли все более или менее ценные книги, а произведения советских авторов просто сожгли. Пригрозили, что часто будут проверять библиотеку. Если найдут "книгу коммунистического содержания", расстреляют не только персонал, но еще столько людей, сколько в этой книге страниц.

Геттовская власть запретила держать в квартирах книги. Все обязаны сдать имеющиеся книги в библиотеку. А работники библиотеки следят, чтобы книги не пропадали; от читателей их требуют даже через геттовскую полицию.

Есть и читальня. Тесная, крохотная, но, когда в одной комнате живут несколько семей, дома читать почти невозможно. А

читать хочется! Хоть ненадолго забыть, где находишься.

В библиотеке пристроилось и адресное бюро. В отделе прописки (мы даже прописаны, как в настоящем городе) записали все адреса, посадили девушку, и сидит она, бедная, зевая. В первые дни еще, бывало, кто-нибудь забредет на всякий случай, спросить о пропавшем родственнике, а теперь... кто жив, встретился в этой тесноте, а кого нет, того и адресное бюро не разыщет.

А.Р. узнал от кого-то последние известия: Москва держится! Защищают ее героически, притом не только войска, но и население. Даже ученики помогают — роют окопы. И мы бы с удовольствием помогали, рыли, чтобы только скорее пришел Гитлеру конец.

Нам делали прививку от каких-то инфекционных заболеваний. Вообще здесь, насколько позволяют возможности, геттовские врачи заботятся о здоровье людей.

В доме 11 по улице Рудникку есть амбулатория, а на улице Лигонинес — даже больница. Несколько палат предназначено для больных инфекционными заболеваниями; во дворе в маленьком сарайчике держат умалишенных. (А ведь еще совсем недавно они были вполне нормальными людьми!)

У ворот больницы находится морг, а напротив — аптека. Конечно, совсем не похожая на настоящую, в ней даже не пахнет лекарствами; получить там можно только самые простые порошки.

Там же, в аптеке, принимают передачи и записки для больных, а рядом в каморочке выписывают пропуска для посещения. Без пропуска даже не пытайся сунуть нос: у ворот сидит очень злой старик. Словом, все как в настоящей больнице, только ужасно убого.

Ночью нас снова разбудил топот тяжелых солдатских сапог. Смотрим, у ворот большой отряд гитлеровцев. Кинулись одеваться. Но вдруг послышалась команда повернуться. Старший крикнул, чтобы солдаты шли во второе гетто.

Представляю себе, что там будет сегодня твориться.

...В какой-нибудь квартире разбуженные шумом люди пытаются спрятаться. Откидывают дверцу в полу, ведущую в подвал. Но в этот момент в комнату врываются убийцы.

...На столе догорает огарок свечи. Смятые постели, перевернутый стул. Палачи грабят — сняв шинели, напяливают костюмы, за пазуху заталкивают рубашки. Когда пихать некуда, открывают подвал. Спрыгивают. Фонариками освещают сырые стены и застывшие в ужасе лица. Приказывают стать перед ними, завоевателями Европы, на колени. Ходят между вставшими на

колени, издеваются, стегают по спинам, ржут. Насытившись этим зрелищем, выгоняют.

...На улице кто-то пытается вырваться. Бандиты заламывают ему руки и тащат к толпе, уверяя, что

не надо сопротивляться — ведь только переводят в рабочий лагерь. Но он лягается, кусается, и в конце концов, вырвавшись, бежит. Его догоняет пуля...

Кто-то в толпе сетует — не надо было бежать. Может, на самом деле везут в лагерь?

Темная октябрьская ночь провожает их, идущих из города...

Второе гетто этой ночью совсем ликвидировали. Там было около девяти тысяч человек.

Под утро недалеко от ворот нашего гетто нашли ползшую из того гетто роженицу. Не доползла, умерла, рожая на мостовой. А новорожденную, здоровую и кричащую, внесли в гетто. Ее назвали Геттой.

Работающих на фабрике «Кайлис» выселяют из гетто. В городе, недалеко от фабрики, для них создают отдельный блок. Его огорожат, но люди предполагают, что акций там, наверно, не будет. Директор фабрики «Кайлис» будто бы выхлопотал распоряжение не трогать тех, кто у него работает.

Пока что туда переселяют не всех: не умещаются. Но скоро директор получит еще один дом, рядом.

Хотя Генсас объявил, что жителям нашего гетто, то есть ремесленникам, больше ничто не угрожает (в этом его как будто заверили немецкие власти), никто ему не верит. Люди уже несколько дней говорят о каких-то желтых удостоверениях. Наш кайлисовец уже получил. Удостоверение такое же, как и белое, но желтого цвета и называется не «аусвайс», а "фахарбайтер аусвайс". Его получают только хорошие ремесленники, и то не все, потому что удостоверений только три тысячи, а рабочих десять тысяч. Для служащих «юденрата» и геттовской полиции принесли четыреста удостоверений. Выходит, они, хоть и не ремесленники, получают почти все, а из работающих получит только четверть.

Мама получила! Из двухсот тридцати работающих на швейной фабрике эти удостоверения получили только восемьдесят.

В гетто беспокойно. Ничего определенного, но все говорят, что сегодня ночью не надо ложиться.

Поздно вечером мы узнали, что все имеющие желтые удостоверения обязаны зарегистрироваться в «юденрате». Регистрировать будут всю ночь, до четырех часов утра. Надо явиться с членами семьи — мужем или женой и детьми до шестнадцати лет. Детей старше шестнадцати, родителей, братьев

и сестер к удостоверениям не приписывают. Исключение составляют только геттовская полиция и работающие в мастерских, принадлежащих гестапо.

Какое счастье, что Мира тоже получила удостоверение. Ведь ей уже семнадцать лет.

Завтра рано утром все, кто имеет желтые удостоверения, обязаны выйти на работу вместе с приписанными к удостоверению членами семьи. В гетто можно вернуться только вечером следующего дня. Не получившие удостоверений и их семьи остаются в гетто...

Очень страшно. Настроение тяжелое. Люди злые, нервные; все лихорадочно спешат зарегистрироваться. У кого нет удостоверений, ищут, к кому бы приписаться или хотя бы приписать и спасти своих детей. Имеющие удостоверения набирают новых «родственников», особенно детей. Братья будут регистрировать сестер как жен, дочери запишут мужьями отцов...

Мы тоже идем регистрироваться. По темным улочкам плетутся люди. Все двигаются в одном направлении. В руках у одних прикрываемые ладонями огарки свеч, другие иногда зажигают спички. Темно, как в мешке. Кто-то потерял ребенка. Бежит назад, в испуге зовет его.

"Юденрат". Широкая лестница бывшей гимназии запружена людьми. Все стремятся наверх, к спасительным столам. Спускающиеся вниз локтями пробиваются через толпу. Большинство плачет: одному не приписали мать, другому — семнадцатилетнего сына. Геттовские полицейские пытаются навести порядок, но на них не обращают внимания: кто так близко ощущает смерть, не чувствует ударов.

Шум, столпотворение, даже не верится, что всего полгода назад по этой лестнице носились ученики. В бывшем классе, где сейчас люди борются со смертью, стоит, словно наблюдая за нами, скелет. Отдыхают карты, доска. В углу валяются какие-то декорации, балетные костюмчики. Но никто их, кажется, не замечает. Да и я сама уже совсем забыла, что такие вещи существуют. Странно, человеку кажется, будто вместе с его жизнью изменился весь мир...

Уже видны регистрационные столы. С мамой заговаривает какой-то мужчина. Просит приписать его как мужа. Мама пугается. Но он горячо убеждает, что нам это не повредит, а ему спасет жизнь. Умоляет не отказать. Расспрашивает, как нас зовут, кто какого года рождения, как он сам должен именоваться, сообщает, где он работает.

Мама подает регистраторше удостоверение. Та нас осматривает, записывает и подает маме маленькие синие

номерки.

Как жадно блестят глаза этого мужчины, когда он смотрит на спасительный номерок! Он пробивает нам дорогу и все твердит о своей благодарности. Даже неловко слушать такие торжественные слова. Что это стало с людьми? За самый нормальный человеческий поступок благодарят так, словно для них совершили что-то необыкновенное, героическое.

Мы вернулись домой. В нашей квартире семнадцать человек не имеют удостоверений и номерков. Они останутся здесь. Но некоторые приписали своих детей к чужим людям. Теперь родители прощаются... Дети плачут, не хотят идти без матерей, а те сквозь слезы жадно целуют родное личико, ручки и с болью шепчут: "Иди с дядей и тетей, слушайся их. Они тебя спасли". Кто знает, так ли это?..

Светаёт. Мы уже во дворе и ждем маминого приписанного «мужа» (без желтого удостоверения недействительны синие номерки).

Выходим со двора. У барьера толчея. Мурер и другие офицеры тщательно проверяют удостоверения, осматривают каждого члена семьи. «Забракованных» (то есть подозрительного возраста) угоняют в подворотню соседнего дома.

К выходу приближается девушка. Она ведет за руки стариков родителей. Мурер берет ее удостоверение, велит пройти, а родителей толкает к «забракованным». Но девушка тащит их обратно. Мурер не пускает. Она вырывает из его рук удостоверение и все-таки ведет родителей. Мурер швыряет ее к стене, достает пистолет...

Когда я открываю глаза, она уже лежит... А Мурер спокойно возвращается на место и снова принимается за проверку.

Наконец выходим и мы. Вместе с большой группой людей идем в блок «Кайлиса». Но нас не хотят впускать: уже переполнено. Мужчины кое-как упрасивают впустить нас хотя бы в сарай. Садимся на свои узлы у дверей. А работающие расходятся по предприятиям.

Моросит дождь.

...И там, в гетто, тот же дождь. Людей избивают, гонят.

Уже вечер. Ноги затекли. Так хочется их вытянуть и хоть на минутку где-нибудь приклонить голову.

Стемнело. Все еще идет дождь. Наверно, уже скоро полночь. Как невыносимо тяжело! Когда все это кончится?

Набожные люди уверяют, что земля не хочет принимать невинные жертвы и выбрасывает их назад. Поэтому из земли торчат руки... Но, как объяснила мама, все гораздо проще: большинство расстрелянных валяются в яму ранеными. Они

задыхаются и распухают. Их очень много — слой земли, которым засыпаны ямы, лопается. Вот в щелях и виднеются руки, ноги, головы...

Поэтому теперь ямы не наваливают доверху, а тела заливают негашеной известью.

Страшные мысли копошатся в голове, не дают даже вздремнуть, хотя уже вторая ночь без сна и глаза сами слипаются.

Еле дождались рассвета. Мама и другие работающие снова ушли.

Теперь ждем вечера, когда сможем вернуться домой.

Осенние дни коротки, скоро начнет темнеть. Но никто не торопится: страшно. Может, там еще не кончилась акция?

Наконец мы решились.

В гетто жуткая пустота. На улицах валяются брошенные узлы. Зияют чернотой раскрытые двери. Под ногами хрустят осколки битого стекла.

Наша квартира пуста. Тех семнадцати человек нет. Вещи, словно заснеженные, покрыты белым пухом: бандиты вспороли подушки.

А дальше что?..

Оккупанты еще больше бесятся. Очевидно, потому, что им не везет на фронте.

А убежать из гетто становится все труднее. Население напугано, боится прятать. В газетах напечатан приказ Мурера: если у кого-нибудь найдут спрятанных евреев, будут строжайше наказаны все жильцы квартиры. "Строжайше наказаны" — это значит повешены. Я слышала, что "для острстки" нескольких городских жителей уже повесили на Кафедральной, Ратушской и Лукишкской площадях.

Кто может, пытается хотя бы уехать в окрестные местечки. Говорят, там спокойнее.

Люди продают последние тряпки и нанимают грузовики. Детей выносят в рюкзаках или выводят, переодев в одежду взрослых. После работы уже не возвращаются в гетто и с наступлением темноты ждут в условленном месте.

Но пока еще очень немногие достигли цели путешествия: задерживают по дороге.

Неужели нет спасения?

Еще живыми кажутся люди, угнанные во время акции на прошлой неделе, а уже снова...

На этот раз обладатели желтых удостоверений обязаны выйти с семьями не на одни сутки, а на трое.

Одна наша знакомая, тетя Роза, решила не прятаться. Говорит, что за три дня все равно найдут. А если на этот раз даже

удастся каким-то чудом уцелеть, то возьмут в следующий раз, все равно истребят всех. Такова их программа...

Мне жутко ее слушать. А мама даже сердится на нее. Как можно самой согласиться умереть? Сидеть и ждать, пока придут за ней!

Зато в соседней квартире лихорадочная суета: готовят убежище. В маленькую комнатку вносят узелки с бельем, краюхи хлеба, кастрюльки отварного черного гороха. Входят и люди. Все с опаской поглядывают на соседку с маленьким ребенком: не расплатится ли он? Уже не раз плач ребенка выдавал тайник.

Молодой парень с сестрой, которая приписана к его удостоверению как жена, прячут в убежище своих родителей. Двери комнаты маскируют огромным старинным буфетом. Прибивают его к стене. На полки складывают посуду всей квартиры и специально для такого случая хранимую бутылку водки.

Если палачи нагрянут, водка отвлечет их внимание.

Прошли и эти трое суток. Мы снова в гетто. Первым делом я забежала в соседнюю квартиру. Как тайник? Он разрушен... Буфет отодвинут. Значит, ребенок все-таки расплакался. Обычная причина провала тайника. Случилось так, как со многими другими...

...Первый день. В комнатке тихо, темно. Ребенок спит. Солдаты входят в квартиру, недолго ищут и выходят. С улицы доносятся далекие крики, одиночные выстрелы. Но в комнатке кажется, что здесь безопасно.

Ночь. Мать будит ребенка, тихо играет, кормит — чтобы только не спал: пусть спит днем. Но как нарочно, его глазки слипаются. Засыпает. Что будет днем?

Утро. Снова приходят солдаты. Сегодня они, очевидно, ищут более тщательно. А ребенок не спит. Привык к темноте и уже не хочет лежать спокойно — лопочет, играя пальчиками ножек, смеется. За стеной, в большой комнате, — солдаты. Ищут, роются, стучат в стену! Открывают буфет!.. Смеются. Нашли водку. Пьют, орут, гогочут. И все это так долго! Хоть бы ребенок не расплакался. Мать крепко прижимает его к себе, своим ртом закрывает его ротик.

Наконец бандиты убираются. Прошел и второй день. Продержаться бы еще один!..

Третий, последний день. В квартиру снова вваливаются солдаты. Сегодня они особенно свирепые, шумные. Словно злые собаки, рыщут в каждом углу. Вот и сейчас слышны их шаги. А ребенок сегодня невыносимо капризен. Заболел, что ли? Хоть бы не заплакал. Плачет! А они уже поднимаются по лестнице. Опять

заходят в квартиру... Кто-то из соседей набрасывает на ребенка подушку. Мать хочет откинуть. Но все напрасно: бандиты уже слышали... Отталкивают буфет и входят в комнату.

И вот все, кто был в тайнике, бредут в Понары...

Генсас опять уверяет, что будет спокойно. Он созвал собрание и объявил, будто немецкие власти его уверили, что теперь, когда в гетто остались только хорошие, очень нужные немцам ремесленники, ничего плохого больше не случится. Только надо хорошо и добросовестно работать, быть послушными. Если мы своим трудом принесем пользу и будем усердно выполнять приказы, они нас не расстреляют.

Я сама видела, как один человек на эти слова махнул рукой и сплюнул, назвав Генсаса фашистским попугаем.

На этом же собрании Генсас объявил и о новых порядках: в каждой бригаде должен быть ответственный бригадир — «колоненфюрер». Он отвечает за всю бригаду и должен следить, чтобы при выходе на работу к ним не примазался посторонний человек, желающий таким образом выйти в город. Бригадир отвечает и за порядок, когда идут по улицам города. Он обязан иметь список рабочих своей бригады и проверять, все ли пришли на работу; от неявившихся требовать справку врача. О неработавших без уважительной причины он обязан сообщить в геттовский «арbeitsamt». Тот имеет своих исполнителей — полицию труда, которая сажает «саботирующего» на ночь в тюрьму, а утром выпускает при условии, что он пойдет прямо на работу.

Между прочим, работа «платная». Мужчины получают по 1 марке и 20 пфеннигов в день, женщины — по 1 марке, а подростки до шестнадцати лет — по 80 пфеннигов. Столько выплачивают рабочему. Ровно такую же сумму организация должна внести в "гебитскомиссариат".

Но пусть никто не думает, что этот жалкий заработок достается работающему. Нет. Теперь на него свою лапу накладывает геттовская власть. Десять процентов забирает налоговый отдел. Даже специально отпечатаны налоговые карточки. Если не отмечено, что налог уплачен, не выдают хлебных карточек. Знают, как без особого труда вытребовать налог.

Еще десять процентов надо внести для комитета "зимней помощи". Тут уж ничего не поделаешь — чем ближе зима, тем больше нужна эта помощь.

Из гетто уже вышли и остальные рабочие «Кайлиса»: их директор получил второй дом для блока. К сожалению, мы не смогли выйти вместе с ними. А там пока спокойно. И во время

прошлых акций, когда здесь лилась кровь и в Понары угнали около семи тысяч человек, там была только поверхностная проверка.

Теперь и в самом гетто будут блоки. Все работающие в одном месте жить тоже будут вместе, в одном доме. Люди говорят, что это плохой признак. Теперь, если кого-нибудь уволят, сразу придется идти в Понары. Уже не спрячешься... Кое-кто успокаивает, что, может, это всего лишь немецкий педантизм, любовь к порядку или, в худшем случае, новый способ выявлять людей, у которых нет желтых удостоверений.

Но если они действительно только к этому стремятся, то напрасно. Не имеющие удостоверений остались на своих местах. Люди еще больше потеснились и живут. О «нелегальных» ничего не знают не только гитлеровцы, но и геттовские полицейские.

Снова мрачные вести: в Понары увезли семьи советских офицеров, которые до сих пор держали в двух домах на улице Субачаус.

И вот сегодня их увезли. Проезжая, одна женщина крикнула возвращающейся в гетто бригаде: "Где рабочий поселок Понары? Нас туда везут на работу".

Обычный обман...

Получен приказ «гебитскомиссариата»: евреям запрещено рожать детей. Народ, обреченный на истребление, не должен рожать новое поколение.

Сегодня запрещают рожать детей, а завтра могут уничтожить тех, которые уже есть.

Хоть бы один день прожить без страха смерти!

Прошлой ночью снова была акция. Таинственная, непривычно тихая, поэтому мы узнали о ней только сегодня.

В этот раз смерть ворвалась в семьи рабочих из мастерских, подведомственных гестапо. Хотя работать в самой берлоге зверя еще страшнее, но в этом было и одно преимущество: бригадиру удалось вымолить разрешение приписывать к их удостоверениям не только жен и детей, но и родителей, сестер, братьев. Стремясь спасти как можно больше людей, они набрали множество «родственников». А теперь господа, очевидно, спохватились: рабочих слишком много, а членов семей еще больше.

Около полуночи в гетто тихонько вошла небольшая группа солдат и направилась к блокам, где жили рабочие гестаповских мастерских (улица Страшуно, 3, и половина дома 15). Так же тихо разбудили людей и передали приказ шефа гестапо Нойгебоера выйти из гетто. Их вежливость и нормальный тон заставили думать, что они пришли вывести нужных им рабочих из гетто, которому, наверно, опять грозит опасность.

В этих блоках жили несколько посторонних семей, которые не успели переселиться в свой блок. Теперь они посчитали себя счастливыми и присоединились к уходящим.

Всех увели в Лукишскую тюрьму. Но это их не испугало: во время первой акции желтых удостоверений, когда надо было сутки пробыть с семьей на месте работы, их тоже закрыли на ночь в одной из отделений тюрьмы.

Утром туда пришел начальник тюрьмы Вайс с несколькими гестаповцами и объявил, что большинство рабочих уволено. Оставленных он вызовет по списку. Их отведут назад, в гетто. Однако и на них прежние привилегии не распространяются: с ними могут выйти только жены и дети до шестнадцати лет. Родители, братья и все уволенные остаются здесь.

Горсточка выпущенных вернулась в гетто.

Остальных, наверно, угнали в Понары...

Снова беспокойно. Обладателям желтых удостоверений велят заполнить анкеты. Мама уже заполнила. Вопросы обыкновенные: фамилия, имя, год рождения, ремесло, место работы, имена членов семьи, степень родства, их возраст. Говорят, что перечисленным в анкетах членам семьи (в анкеты можно вписать только тех, кто имеет синие номерки) выдадут розовые удостоверения.

Всем дадут или опять что-нибудь придумают?

Розовые удостоверения дают всем, но не сразу — каждый день получает определенное количество людей.

Мама уже получила для нас. Теперь я тоже имею собственный документ. Правда, он, очевидно, не очень важный, потому что действителен всего лишь в гетто и подписал его только Генсас. Даже печать местная — все та же шестиконечная звезда с надписью по-немецки: "Полицейская комендатура. Гетто. Вильнюс".

Люди успокоились: раз розовые удостоверения выдают всем, по очереди, волноваться нет оснований.

Но вчера вечером неожиданно поднялась паника: Мурер приказал до утра закончить эту работу.

Ранним утром в гетто вошли отряды солдат. Выстроились на улицах. Наверно, ждут, пока все работающие выйдут в город. Но люди не хотят идти. Генсас со своим полицейскими гонят силой. Кричат, что здесь будет только проверка. А если найдут кого-нибудь с желтым удостоверением, не вышедшего на работу, удостоверение аннулируют, а его самого и семью заберут.

Мама все равно не хочет идти. Соседи почти насильно уведут ее.

А что будет с нами? Может, хоть на этот раз не обманут и

действительно только проверяют? Все равно плохо: живущие в нашей квартире соседи не имеют удостоверений. Ребенка они приписали к удостоверению товарища, а сами в прошлые две акции уцелели в убежище своих знакомых; теперь это убежище собираются усовершенствовать и временно разрушили. Им некуда деваться, поэтому решили спрятаться хотя бы в кровати. Легли, а мы накрыли их одеялами и подушками всей квартиры, сверху набросали одежду.

Тихое зимнее утро. В воздухе кружатся редкие снежинки. Они ложатся прозрачным покровом на землю. Но тут же их вдавливают в грязь кованые сапоги. Сверху снова ложатся снежинки, как бы желая собою прикрыть и грязь, и след сапога. Но напрасны старания: теперь их топчет много ног — увели большую группу людей. Уцелев после таких двух страшных акций, они все равно погибнут. Трудно избежать Понар.

Вдруг мы слышали шаги. Солдаты уже во дворе!.. Поднимаются по лестнице... Стучатся в соседнюю квартиру. Никто не открывает — ломают дверь. Она трещит. Женский плач. Солдатский смех. Шаги. Топот. Кого-то уводят...

Уже стучатся в нашу дверь! Бросаемся к кровати, закрываем, выравниваем. С перепугу сажусь на кровать. Подо мною зашевелились, очевидно, я больно придавила.

Гитлеровцы долго осматривают каждое удостоверение. Выстукивают стены, отодвигают шкаф, рыщут в передней. Вваливаются в соседнюю комнату. Я осторожно приподнимаю угол подушки, чтобы к беднягам проникла хоть капелька воздуха.

Бандиты уходят. Сбрасываем подушки. Обмахиваем, поим холодной водой; люди еле приходят в себя. Но вылезти из кровати не решаются, потому что гестаповцы могут вернуться.

У ворот гетто стоят крытые грузовики. На этот раз палачи не гонят свои жертвы пешком: по дороге люди пытаются бежать. Хотя чаще всего смельчака все равно догоняет пуля, но, если везти, и ее не потребуется...

Привезут в лес. Там долго будут греметь выстрелы. Затем снова станет тихо. И только деревья, как бы окаменев в трауре, почтут память расстрелянных...

Сосед тоже получил розовое удостоверение. Оказывается, после выдачи членам семей еще остались бланки. Нужны рабочие, и розовые удостоверения выдают всем, кому во время этих страшных акций удалось уцелеть.

Значит, больше их не будут трогать. Вот как не права была тетя Роза, сразу потеряв надежду. Спряталась бы — может, и жила бы теперь, как все мы. Правда, долго ли? Во всяком случае, мы еще хоть можем надеяться, потому что мы живы, а она...

Удостоверение соседа такое же, как и наше, только возле номера стоит буква «S» (это удостоверение не члена семьи, а защитное, "schutz"). Туда вписано и ремесло его обладателя. А жена соседа получила обыкновенное, как и у нас всех, удостоверение члена семьи.

Да, теперь приказали работать не только получившим эти удостоверения, но вообще всем жителям гетто: женщинам, старикам, подросткам. Работающие получают еще и синие удостоверения, то есть свидетельства о работе, дополнительно к розовым.

Я тоже хочу работать в городе. Но мама не пускает. Говорит — замерзну. Да и как детей оставлять одних? Но я чувствую, что она скоро сдастся: уж очень мало ее и Мириного заработка. Все-таки было бы еще немножечко денег, а главное, может, я бы тоже смогла что-нибудь приносить из города.

Ура! Фашистов бьют! Их гонят от Москвы! Красная Армия уже освободила Калинин.

Им худо! Они мерзнут!

Жаль только, что они хотят потеплее одеться за наш счет. Приказали сдать все шубы, даже воротники, меховые шапки и манжеты. Все меховые изделия необходимо до пяти часов отнести в «юденрат». За невыполнение приказа — смертная казнь!

Придется отдавать. А ведь большинство людей работает на улице. Если до сих пор мерзли только те, кто надеялся, что до зимы война кончится, и поэтому не принесли в гетто зимних пальто, то теперь будут мерзнуть все. И как назло, ужасно холодно, никто не помнит такой суровой зимы. А оккупанты с этим не считаются — каждый день приходят в гетто, ловят женщин, даже подростков и гонят чистить снег. Работа временная, поэтому не дают ни удостоверений, ни даже той жалкой заработной платы. Просто выгоняют, и работай.

Мама отпоролла наши воротники и отнесла. Рассказала, что у «юденрата» стоят грузовики, в которые целыми охапками грузят теплые шапки, воротники, пальто.

Я побежала посмотреть. Да. Нагруженные машины выезжают из гетто, а на их место становятся пустые, чтобы вскоре выехать отсюда, медленно покачивая в кузове гору разноцветных меховых лоскутов.

Сегодня я слышала анекдот: красноармейцы думали, что взяли в плен женский батальон — на шинелях гитлеровцев болтались хвосты чернобурок.

Что бы мы делали без учителя Йонайтиса? Наверно, еще больше голодали бы. На прошлой неделе он передал для нас глиняный горшочек с жиром. Его мать прислала ему из деревни

— сверху под бумагой лежала ее записка. А он записки и не заметил. Значит, не открывал. Как получил, так прямо переслал нам. Он очень неосторожен — вчера принес к самым воротам гетто папино осеннее пальто и передал Мире. А сам ходит в рваных ботинках. Мама уже несколько раз просила носить оставленные у него папины ботинки. В конце концов, он обещал, но при условии, если мама возьмет за них деньги.

Еще чего!

Уже несколько дней тихо. Попытаюсь подробнее написать о нашей жизни.

Здесь люди тоже неодинаково живут. Одни, придя в гетто, принесли с собой больше вещей, другим помогают живущие в городе друзья, а третьи не имеют ни того, ни другого. Им изредка оказывает помощь отдел социального обеспечения при «юденрате»: выдает пособие для внесения квартплаты (не заплатишь — не получишь хлебных карточек), хлопочет о льготах при оплате налогов, дает бесплатные билеты в баню или талончики на суп. Конечно, получить все это нелегко: нуждающихся больше, чем возможностей.

Недавно "социальное обеспечение" и "зимняя помощь" провели сбор одежды, призывая людей поделиться последним с теми, кто ничего не имеет. И люди делятся...

Эту одежду получают сироты и те, кто ходит в лохмотьях, а чистит снег на улицах города, работает на железной дороге и аэродроме.

Между прочим, работать на аэродроме — настоящее несчастье. Там есть страшный гитлеровец, для которого самое большое удовольствие — целиться кому-нибудь в шапку или заставлять усталых и замерзших людей после работы до самой ночи ползать на животе по аэродрому.

Опять была акция. Небольшая, тихая, но все-таки акция.

Ночью в гетто бесшумно вошел небольшой отряд солдат. Трезвые, спокойные, они велели геттовским полицейским оставаться на своих местах, а сами разошлись по имеющимся адресам.

Они будили людей довольно вежливо, советовали взять с собой теплую одежду и терпеливо ждали, пока те оденутся и соберутся.

Только за воротами гетто, когда стали загонять в машины, люди осознали свое положение...

Оказывается, накануне Мурер потребовал от Я. Генсаса новых жертв. Генсас составил список нежелательных ему или надоевших геттовской полиции лиц, дал палачам адреса, и ночью в Понарах снова гремели выстрелы.

Я не знала, что в гетто действует нелегальная организация коммунистов и комсомольцев. Их фамилий никто не называет, потому что это может им повредить. Но факт, что они есть. Лучшее доказательство — новогодние воззвания. Настоящие, напечатанные (может быть, даже в самом гетто?). В них очень горячо призывают сопротивляться, не давать, подобно овцам, вести себя на бойню. Пишут, что в Понарах уже лежат наши матери, братья, сестры. Хватит жертв! Надо воевать!

Настроение приподнятое, все повторяют слова воззвания.

Вот и наступил Новый, 1942 год. Люди даже не поздравляют, как обычно, друг друга. Потому что этот год может быть нашим последним. Рассказывают, что Гитлер в своей новогодней речи по радио заявил, что в канун следующего, то есть 1943-го, нового года еврея уже можно будет увидеть только в музее, в виде чучела.

Если Гитлера не разобьют на фронте, он свои угрозы осуществит...

Прошлую ночь наш сосед ночевал в геттовской тюрьме: его поймали при попытке внести в гетто несколько картофеля.

Эта тюрьма находится во дворе библиотеки, по улице Страшуно, 6. Фактически это уже Лидская улица, но с той стороны все наглухо забито, а вход через двор с улицы Страшуно.

В тюрьме есть несколько камер. В них сидят "мелкие преступники", наказываемые за невыход на работу, попытку что-нибудь внести в гетто или оскорбление геттовского полицейского. Эти камеры всегда битком набиты.

Вначале люди смеялись над этой тюрьмой, а сейчас боятся: она часто бывает кануном Понар. Когда Мурер требует людей для расстрела, Генсас в первую очередь «очищает» тюрьму.

Опишу наше "государственное устройство".

Учреждений у нас — как в настоящем государстве. Только там министерства, департаменты и комитеты, а здесь «юденрат», его отделы и полиция.

Кроме «арбейтсамта», отдела социального обеспечения, библиотеки и больницы, о которых я уже писала, есть множество других.

Отдел питания выдает через комендантов домов хлебные карточки, распределяет по магазинам привозимые продукты и проверяет их выдачу.

Квартирный отдел занимается вопросом комнат, точнее углов в комнатах. Если после акции где-то стало «просторнее», туда переселяют (конечно, по ордеру) людей, живущих в еще большей тесноте. Квартирный отдел имеет ремонтные бригады, которые изредка белят комнаты. Но такое счастье, к сожалению, выпадает

только на долю полицейских и других привилегированных.

Есть в гетто и другие учреждения: технический и финансовый отделы, отдел мастерских, регистрационное бюро и даже похоронный отдел. Ничего не подделаешь, он нужен. Люди умирают не только от пуль. Городская власть выделила в распоряжение гетто закрытый черный катафалк и дохлую клячу. Почти каждое утро на рассвете по гетто движется печальная процессия — черный катафалк и горсточка провожающих. Если вывозят сразу два-три гроба, провожающих больше.

Доходят до геттовских ворот. Родные прощаются.

Кто тихо плачет, кто кричит. Ворота приоткрываются, проглатывают катафалк и снова смыкаются. Минуту-другую еще слышно цоканье подков о сонную мостовую, и все... Теперь покойника быстро мчат по улицам к кладбищу. Надо успеть, пока город еще не проснулся: даже мертвому «Jude» не все можно...

О детях заботится специальный отдел присмотра за детьми. Для сирот есть интернаты. Дети разделены на группы, по возрасту. Меньшие учатся, а старшие работают в геттовских мастерских или в специальной транспортной бригаде. Если подросток, хоть и сирота, работает в городе, его в интернат не принимают. Считается, что он уже самостоятельный человек. А этому человеку еще так мало лет...

Есть и две школы — на улицах Страшуно и Шяулю. Их специально поместили подальше от ворот: если какой-нибудь гитлеровец неожиданно нагрянет в гетто, пусть не знает, сколько здесь еще детей, пусть не видит, что они под каким-то присмотром. Сами учителя притащили столы, парты, даже доску нашли. Учат. Без учебников. Химию без лабораторных работ, биологию без единого растения, но учат.

Ежедневно в двенадцать часов детей ведут на кухню за супом. Они приходят, постукивая деревянными, обтянутыми материалом башмаками, и ждут, чтобы их впустили. Об этой минуте они мечтали вчера весь вечер и сегодня все утро.

Жадно выхлебав свою порцию, вылизав мисочку, выходят и снова начинают ждать завтрашнего дня, когда их опять приведут сюда...

Дети. Бледные личики, натертые деревянными башмаками ножки. Они тоже враги фюрера. От них тоже надо "очистить Европу".

Для старших есть и гимназия. Но она полупуста. Не потому, что детей этого возраста меньше, а потому, что они уже работают. Ни сами себя, ни другие их уже не считают детьми. Ведь и я забываю, что мне лишь пятнадцатый год. Лучше об этом не думать, потому что охватывает такое желание учиться, читать

стихи, хоть плачь!.. Теперь я бы полюбила и теоремы, даже физику. Но мама и Мира работают, надо присматривать за детьми, стоять в очередях...

Завидовать очень нехорошо, но я иногда завидую малышам, которые ничего не понимают. В грязном, узком дворе, под мрачными, гнетущими сводами они ведут хоровод, поют. Глазенки блестят...

На днях утром появились объявления о том, что второй полицейский участок вместе с артистами готовит представление. Рядом с этим объявлением вскоре появились другие: "На кладбище не поют!", "Полицейские спокойны за свою жизнь, они сыты и одеты — им не хватает только концертов!", "Люди, не ходите на концерты!", "Вместо того, чтобы сидеть на концертах, лучше думайте, как вредить немцам!".

Но концерт состоялся, хотя и очень мало было зрителей. Теперь отдел культуры «юденрата» собирается создавать театр.

Вчера ночью бомбили.

Мы уже лежали, когда вдруг от страшного взрыва задребезжали стекла. Мы соскочили в испуге — думали, что взрывают гетто. Снова грохнуло. Кто-то крикнул: "Бомбы!"

Ура! Нас освобождают! Но мама уверяет, что одна бомбежка еще ничего не изменит. Так что ж, получают больше бомб! Этого им никто не пожалеет!

Генсас с полицейскими совсем взбесились. Заметив в окне даже огонек от папиросы, швыряют камень. Взрываются бомбы, сыплются стекла, свистят полицейские — настоящее светопрествление. А мне совсем не страшно. Наоборот.

Внезапно стихло. Самолеты улетели, и мы снова остались одни, взаперти, в лапах врага.

Самолеты вернулись еще раз, где-то далеко несколько раз глухо рвануло, и опять наступила цепенящая тишина.

Оказывается, одна бомба упала недалеко от гетто.

Около полудня примчался рассвирепевший Нойгебоер. Кто-то ему сообщил, что ночью из гетто были выпущены белые ракеты. Значит, здесь знали о прилете самолетов и ждали их: евреи подали большевикам знак, помогли им сориентироваться, осветили город. Виновных он искать не станет. За такую измену ответят все. Он сам, собственноручно подожжет гетто: "Пусть евреи, сгорая, светят своим друзьям-коммунистам".

Я уже давно ничего не записывала. Жизнь однообразна: если не говорим о Понарах, то говорим о еде. Несколько раз видела А. Р. Но о чем с ним говорить? О школе? Сколько можно жить воспоминаниями? А больше не о чем: он работает, у меня свои заботы. О них можно говорить с мамой, но не с ним.

Уже март. Скоро весна...

Опять очень беспокойно: истекает срок действия желтых удостоверений.

Осенью, когда получали эти удостоверения, пять месяцев их действия казались долгим сроком. 30 марта представлялось очень далеким. Еще столько можно будет жить! Надежались, что до этого дня гитлеровцев могут прогнать. Теперь этот день приближается, а они все еще здесь.

Каждый, кто может, старается выведать, что с нами будет дальше. Однако ничего не слышно. Неужели какой-нибудь гестаовец или служащий «гебитскомиссариата» никому не проговорился? Тайнственность сулит только плохое...

Теперь я точно знаю: в гетто нелегально действует организация, которая готовится к борьбе с оккупантами. Это ФПО — объединенная партизанская организация. Члены этой организации уже изготовили своими руками мину, которую сами подложили под железнодорожный путь около Новой Вильни.

Ура!

Однако говорить об этом нельзя. Мама запретила даже в дневник вписывать. Но как я могу пропустить такую новость?

Последние три ночи до истечения срока действия желтых удостоверений мужчины нашей квартиры по очереди дежурили. Если будет акция, пусть хотя бы не застигнут врасплох.

Сегодня, в последнюю ночь, уже никто не ложится.

Ночь почти весенняя, но какая-то застывшая, неподвижная — все темно да темно.

Наконец стало светать. Мы выходим на улицу. Надо идти на работу или не надо? Геттовские полицейские, конечно, орут, чтобы мы не поднимали паники и шли, как обычно, на работу. Но кто-то пустил слух, что гестаповцы будут гнать в Понары прямо с работы, а гетто будут «чистить» днем.

Бригады распались: все бегут домой прятаться, спасаться, сопротивляться. Геттовские полицейские ловят и силой гонят на работу.

И маму увели почти насильно. Я спряталась во дворе, чтобы не надо было прощаться.

День прошел в напряженном ожидании. Но ничего не было. Неужели ночью?

Дремали нераздетые. Ночь тоже прошла спокойно. Может, фашисты вообще забыли, что истек срок?

Удостоверения продлевают. Опять не всем сразу, чтобы не было паники.

Маме уже продлили. Просто перечеркнули дату "1942.III.30" и поставили штампик "IV.30". Только на месяц... Оптимисты

уверяют, что за это время отпечатают трудовые книжки, которые будут давать вместо желтых удостоверений.

На этот раз слухи подтвердились: желтые удостоверения действительно меняют на трудовые книжки. Я уже видела. Они сделаны из твердой розовой бумаги. На первой странице (точнее, обложке) — фамилия, имя, дата и место рождения, место жительства (здесь сразу же напечатан и ответ: "Вильна. Гетто"), специальность, семейное положение. Затем две странички предназначены для отметок о работе: где и кем работает, когда принят, уволен. В конце — место для геттовских властей.

Когда трудовые книжки получают все имеющие желтые удостоверения, их начнут выдавать и обладателям синих удостоверений.

Между прочим, название «синие» уже не совсем точно, потому что теперь их печатают на зеленой и белой бумаге, очевидно, синей не хватило.

Мы с мамой уже давно договорились, что весной я тоже пойду работать. И вот я работаю. Таскаю воду.

В первое утро, выйдя из гетто, я испугалась: на улицах столько гитлеровцев! Я тащилась вместе со всей бригадой и боялась цоднять глаза. А улицы такие широкие, чистые. Здесь и светлее, чем в гетто.

Увидела учителя французского языка Бакайтиса. Может, не надо было на него глазеть, не кивнул бы. Ведь ему это повредит, если кто заметит...

Работаю на огородах старого богача Палевича. Они довольно далеко, примерно в районе Кальварийского рынка. Хозяин — злой старик. В первый же день предупредил, чтобы мы не смели выносить отсюда ни одной морковины. Если при прополке съедем морковку или огурец, он простит, но, если поймает при попытке унести с собой, сообщит в гестапо.

Пока еще нечего ни полоть, ни есть. Носим воду для поливки. Первые ведра показались ужасно тяжелыми, тем более что нести приходится далеко, до конечных грядок. В гетто такое расстояние — две улицы.

Я таскала полные ведра и торопилась с пустыми назад. Время еле ползло. Когда настал час обеда, работавшие недалеко польские женщины сели перекусить. Хотя очень хотелось посмотреть, как они едят, я заставила себе отвернуться. А то еще подумают, что прошу. Конечно, если бы угостили, я бы не отказалась.

Посидев, я с трудом встала: очень заболело все тело. Руки от напряжения тряслись, ведра казались еще более тяжелыми. Трудно было заставить себя носить.

Солнце садилось очень медленно.

Вечером мама не могла упросить меня поест: тошнило, болела голова. Мама уверяла, что я опьянела от свежего воздуха. А мне совершенно неважно, отчего мне плохо.

Утром я не могла подняться. Мама упрасивала, объясняла: если работаю, нельзя пропустить ни одного дня, иначе сочтут за саботажницу. Она мне, словно маленькой, помогла одеться, а я ревела от обиды, что даже мама меня не понимает, что не представляет себе, как мне трудно. А мама меня одевала и успокаивала, что так всегда бывает после первого дня тяжелого труда, а потом проходит.

Вчера на самом деле было легче, а сегодня даже сносно.

Чтобы не было скучно работать и скорее проходило время, я считаю ведра. Сегодня их было девяносто шесть. Я сорок восемь раз принесла по два полных ведра.

Советский Союз подписал договор с Англией и Америкой. Договорились, что они будут вместе воевать против Гитлера и его сообщников.

Сведения о заключенном между тремя государствами союзе точные. И все сообщения о фронте достоверные. Нелегально действующие в гетто коммунисты распространяют среди населения сообщения Совинформбюро.

Давно не было новых распоряжений — так появились. Господин бургомистр приказал, чтобы каждый житель гетто уплатил "поголовный налог" за второе полугодие этого года.

Моя голова «оценена» в восемь марок. Может, и недорого, если были бы деньги. Но их нет. И продавать уже почти нечего. Даже дети это понимают. На днях соседка спросил Рувика, что он ест. А он, даже не моргнув, ответил: "Рукав маминой ночной сорочки".

Счастье, что на свете есть учитель Йонайтис...

Мы уже год под оккупацией. Как изменилась жизнь, сколько погибло людей! Как непохож этот год на все прежние. Только теперешние дни, в гетто, если нет акций, похожи друг на друга.

...Раннее утро. Сонные люди сходятся на улице Руднинку, собираются бригадами. Мальчики с висящими на шее деревянными лоточками шныряют между ними, предлагая свой товар: "Сахарин! Папиросы! Кому папиросы, камушки для зажигалок!" Женщины тихо предлагают ржаные лепешки.

Из города возвращаются несколько трубочистов. Это самые богатые люди гетто. В детстве я трубочистов боялась, повзрослев, жалела, что они всегда грязные, в саже, а теперь завидую: они всегда сыты. Дело в том, что в городе не хватает трубочистов и городское управление вынуждено было обратиться в гестапо,

чтобы оно разрешило брать трубочистов из гетто, а главное, выдало бы им удостоверения на право одним ходить по городу и заходить в дома. У трубочистов на обороте их удостоверений написано, что этот «Jude» может один, без сопровождения, ходить по улицам. За чистку дымохода добрые люди их кормят, иногда еще дают что-нибудь для семьи. А искать в их грязных ящиках охрана ворот брезгует. Муреру в руки они не попадают: дымоходы чистят рано утром, трубочисты возвращаются в гетто, когда все остальные еще только собираются выйти.

...Понемногу гетто пустеет: бригады выходят на работу. На улицах появляются одиночные прохожие. Это господа — служащие «юденрата». Они чище одеты, зато очень бледные, какие-то хрупкие.

Завывает мотор пилы. Гетто как бы снова оживает: везде слышен визг электрической пилы.

Вечером возвращаются усталые рабочие.

Наступает ночь. Все замирает до следующего утра.

Когда я сегодня возвращалась с работы, у ворот еще было тихо. Внезапно поднялся переполох. Смотрю — геттовские полицейские гонят от барьера встречающих и останавливают движение. У ворот Мурер! Он стоит у входа и наблюдает, как полицейские из охраны ворот обыскивают входящих. Иногда сам проверяет. У одной женщины находит двадцать пфеннигов (разрешается иметь при себе только десять). Приказывает отвести ее в помещение охраны ворот, раздеть и наказать двадцатью пятью палочными ударами. Бьют ее пять полицейских, каждый по пять раз. Но Муреру этого мало, и он сам берет палку...

Оставив полуживую женщину, Мурер возвращается к воротам. Зрелище избиения его раздражило, он ищет новых жертв.

Замечает, что у одного пожилого человека что-то торчит под пиджаком. Это котелок с супом. Мурер приказывает немедленно тут же съесть весь суп. Раз ему мало получаемого по карточке пайка, пусть наестся. Человек начинает есть. Но дается это нелегко: жалостливый благодетель его уже накормил, а этот суп предназначался только семье. Но Муреру этого не объяснишь. Он издевается, пугает: если тот не вылижет котелка, придется идти в Понары. Человек глотает, давясь...

В конце концов Муреру надоело возиться. Найдя что-нибудь, он просто говорит: «Налево». Его помощники выстраивают «нарушителей» и угоняют в тюрьму. Люди умрут за то, что хотели принести детям ломоть хлеба.

Второго фронта еще нет, гитлеровцы, по-видимому, спешат этим воспользоваться, наступают. В Крыму кровавые бои.

Геройски защищается Севастополь.

В гетто невесело. Ужасная жара. Трудно работать. Даже есть не так хочется. А скорого освобождения все еще не видно. Правда, земля под оккупантами горит. Создаются партизанские отряды. Я слышала, что и наши в гетто вооружаются. Словом, люди зашевелились. Но все делается очень таинственно.

Снова была паника. Днем к воротам подъехало несколько телег. В каждой сидело по два солдата. Их старший зашел в гетто и попросил, чтобы Генсас дал пожилых и ослабевших людей "для отдыха на даче".

Стариков в гетто очень мало: трудно было уцелеть при таких акциях. Но есть новые, успевшие здесь преждевременно состариться. Одни живут с семьями, другие, одинокие, в приюте. Приют — это несколько темных, вонючих комнатушек, густо заставленных кроватями. Очень слабые старики даже не встают, да и ходячие больше похожи на тени, нежели на людей.

И вот по приказу Генсаса геттовские полицейские стали собирать стариков, повторяя, словно попугаи, слова гитлеровцев, что бояться нечего: везут в Поспешки на дачу. Но кто им верит?

Начали, конечно, с приюта. Чтобы взять тех, кто уже не в состоянии подняться, телеги въехали в гетто. Полицейские выносили эти беспомощные скелеты и укладывали на телеги.

Других приводили прямо из дому. Акция началась так внезапно, что никто не успел спрятаться.

Гитлеровцы старались казаться вежливыми, не издевались, не орали. Даже велели, чтобы стариков сопровождали медицинская сестра и несколько полицейских. Предупредили, что телеги скоро вернутся обратно за поваром, хлебным пайком на один день, котлами и прочей кухонной утварью.

Что это значит?

Сопровождавшие стариков полицейские уверяют, что они действительно были в Поспешках, где все подготовлено для отдыха. Врут, конечно.

Что за чудеса? Старики на самом деле отдыхают. Их неплохо кормят, не бьют, фотографируют. И все же оставшиеся в гетто родные умоляют Генсаса вернуть стариков. Но он и слушать не хочет, твердит, что старикам ничто не угрожает, после двухнедельного отдыха они вернутся в гетто.

Конечно, обманули...

Сегодня утром гитлеровцы снова потребовали от Генсаса его полицейских: стариков надо везти в гетто. По техническим причинам их не могут там держать столько, сколько было намечено.

Полицейские поехали, усадили всех в машины. Машины

поехали в город, но повернули не в гетто...

Чем дальше, тем яснее становилось, куда везут.

На этот раз дрожали и геттовские полицейские: им сопровождать к месту смерти! А ведь убийцы не любят живых свидетелей.

Но они вернулись. Одни. А больше ста седых стариков свалили в ямы...

Для чего нужна была эта трагикомедия с "домом отдыха", мы так и не узнали. Во всяком случае ясно, что фашисты кому-то хотят втереть очки.

Скоро осень. Оккупанты решили запастись топливом. Для рубки леса, конечно, требуют людей из гетто. Как ни странно, обещают половину заготовленных дров отдать для гетто. Наверно, боятся, что наши не очень усердно будут заботиться об их тепле. Поэтому хотят заинтересовать: чем больше будет нарублено, тем больше получит и гетто.

Генсас объявил, что должны будут ехать все неработающие в настоящий момент и зарегистрированные в «арbeitsамте» мужчины. А они не верят, что повезут на работу, очень испуганы и ищут способы, как избежать этого. Но ничто не помогает. Говорят, даже служащим привилегированного «юденрата» придется отработать в лесу определенное количество дней. И хорошо, пусть почувствуют, что значит физический труд.

Но гитлеровцы почему-то медлят, пока не посылают. Говорят, все потому, что в лесах полно партизан, которые взрывают мосты, пускают под откос поезда. Гитлеровцы боятся, что люди из гетто присоединятся к партизанам.

Все-таки фашисты везут в лес людей из гетто. Правда, приказали Генсасу послать с ними и геттовских полицейских, которые следили бы, чтобы лесорубы не связывались с партизанами. В противном случае всему гетто будет "капут".

Вчера геттовская полиция трудилась до позднего вечера, разносила всем, кто должен ехать в лес, вызовы.

Поднялась паника. Люди бегут прятаться. Но геттовские полицейские их ловят и приводят насильно. Повторяют слова Генсаса, что нечего бояться, действительно везут в лес на работу, иначе зачем понадобились бы геттовские полицейские и даже динстлейтер? Однако такой аргумент никого не успокаивает: желая обмануть, гитлеровцы не пожалеют нескольких геттовских полицейских.

Кто-то пустил слух, что везут не на лесные работы, а разминировать поля.

Собирающиеся у «арbeitsамта» скорее похожи на похоронщиков, чем на лесорубов. Одни взяли с собой какие-то

свертки, а другие пришли с пустыми руками: на самом деле, зачем брать одежду, пусть лучше останется для семьи — продадут.

Двенадцать часов. В гетто въезжают первые десять телег. На каждой — гитлеровец. Женщины громко рыдают, геттовские полицейские их гонят.

Ворота раскрываются и снова закрываются, выпустив людей в неизвестность...

Вывезенные действительно работают в лесу. Некоторые женщины получили от своих мужей записки (какой-то крестьянин сунул в городе проходившей мимо бригаде).

Все бегут к счастливицам читать эти записки.

Гита (я работаю с ней вместе на огородах) уже давно уговаривает меня записаться в хор. Говорит, там очень интересно, а главное, хоть временно забываешь про все беды.

На днях она меня повела. Руководитель хора Дурмашкин проверил голос, слух, память и велел сразу остаться на репетиции. Но хор, оказывается, поет на древнееврейском языке, а я ничего не понимаю.

Хористы рассказывают, что сначала было очень трудно. После каждой акции часть хористов выбывала. Приходилось привлекать новых. Но это нелегко: одни объясняют, что очень устают, другим родители не разрешают, у многих траур. Кроме того, часто, особенно после акций, в окна летели камни — чтобы не пели. Хору даже негде было репетировать, каждый раз собирались в другом месте. И все-таки репетировали каждый вторник и пятницу. Теперь хор уже имеет две комнаты (на улице Страшно, 12) пианино и даже форму.

Между прочим, хор Дурмашкина не единственный. Есть и хор под руководством Слепа. Там поют по-еврейски. Тот хор имеет прекрасную солистку — Любу Левицкую, которая была солисткой радио.

Дурмашкин создал и симфонический оркестр. Это, конечно, было еще труднее. Музыкантов уцелело очень немного: кто не догадался назвать себя столяром, стекольщиком или хотя бы сапожником и гордо остался музыкантом, тот уже давно в Понарах... А другие, «приобретая» новое ремесло, старались как можно скорее им овладеть, чтобы не выгнали с работы. Пальцы огрубели, стали непослушными. Кроме того, после двенадцати часов тяжелого труда трудно удержать скрипку в руках, да и не очень хочется. А кто и хотел бы — не имеет инструмента: либо, идя в гетто, не взял с собой, либо давно выменял на хлеб.

Но, очевидно, чем больше трудностей, тем больше энтузиазма. Оркестр все-таки кое-как собрали. Ноты Дурмашкин

получает через добрых людей из филармонии. Сейчас оркестр готовит вместе с хором Девятую симфонию Бетховена. Оказывается, текст четвертой части симфонии — ода Шиллера "К радости". Мне перевели ее содержание. Там говорится, что все люди — братья. Конечно... Только жаль, что гитлеровцы так не считают...

Сегодняшний день мог быть последним в моей жизни. А утром я ничего не подозревала, вышла на работу как обычно. И днем ничего не предчувствовала. Наоборот, даже была в хорошем настроении, что удалось обменять на муку мамину блузку.

Насыпав муку в специальный, простеганный «корсет», ждала вечера, когда надену его под платье, затянусь пояском, чтобы не выглядеть слишком полной, и так, «поправившись», вернусь в гетто.

Когда мы шли с работы, какой-то прохожий буркнул, чтобы мы дальше не шли — возле гетто беспокойно.

Мы растерялись. Что делать? Куда деваться? И что происходит в гетто? Неужели акция? Бригадир велит идти, потому что наше замешательство может вызвать подозрение.

Мы еле-еле двигаемся вперед. Одни советуют вернуться обратно на работу. Другие уверяют, что это равносильно самоубийству — вечер, а мы идем в обратном направлении.

Еще один прохожий предупредил, чтобы мы не шли: у ворот усиленно обыскивают.

Значит, Мурер. Те, кто ничего не несет, успокоились. Другие стараются тут же, на ходу, незаметно выбросить из карманов по одной картофелине. А куда мне деть свою муку? Я ее даже снять не могу.

Гетто уже совсем близко... Надо немедленно что-то предпринять, иначе уже будет слишком поздно... Когда повезут в Понары, буду мучительно жалеть, что упустила этот момент.

Гита попросила сорвать с ее спины звезду, она не пойдет в гетто. Я тоже не пойду... Вслед за нею шагнула на тротуар. Страшно... Гита взяла меня под руку и ускорила шаг. Прошли совсем немного — и уже Каунасская улица. Там опасно: много прохожих. Вернулись назад. Через какой-то проход повернули на Большую Стефановскую улицу. Но она такая же короткая — мы опять у КаунаССкой. Поворачиваем назад. Издали видно гетто. У ворот все еще очередь...

Снова сделали тот же круг. Но сколько можно так ходить? Если кто-нибудь заметит, сразу поймет. Мы пересекли КаунаССкую улицу и пошли по каким-то незнакомым улочкам.

Стемнело. Скоро уже, наверно, вообще не будут впускать в гетто. Может, все бригады уже вернулись и мы не сможем

пробраться? Надо идти...

Насколько расстояние позволяет видеть, у ворот все еще много народа, но, кажется, уже спокойнее. Приближаемся и мы. Хотим юркнуть в проходящую мимо бригаду, но нас не пускают, не хотят рисковать жизнью. Пока объясняемся, шагая рядом, одной ногой по тротуару, другой по мостовой, совсем приближаемся к гетто. Гита дергает меня за рукав, заходит на тротуар, и мы как ни в чем не бывало шагаем мимо гетто.

Снова плетемся по темным улочкам. Окна замаскированы, идем почти ощупью. Покружившись, выходим на улицу Пилимо. Издали по мостовой приближается толпа. Наверно, какая-нибудь бригада наших. Гита шепчет, что теперь уже во что бы то ни стало надо войти в гетто. Иначе рискуем остаться здесь на всю ночь, а это значит — попасть в Лукишскую тюрьму.

Как только бригада приблизилась, мы юркнули. Здесь люди оказались более дружелюбными. Некоторые позлились, поворчали, что мы "отчаянные девчонки", но, узнав причину такого нашего злоключения, спрятали нас в самую середину и обещали заслонить от геттовских полицейских. Один у ворот даже положил мне на плечо руку, чтобы не видно было, что я без звезды.

Мурера у ворот действительно нет. Зато трудятся полицейские. Забрали спасенную с таким трудом муку...

Мама не очень переживает: "Хорошо, Маша, что ты хоть жива осталась". Она думала, что я уже не вернусь.

Только теперь я узнала, что тут творилось. Оказывается, под вечер, как раз в самую пору возвращения с работы, к воротам неожиданно подъехал Мурер. Влетел прямо в угловой магазинчик, куда складываются отбираемые продукты. Взглянув, что конфисковано, вылетел назад и избил нескольких геттовских полицейских. Кричал, что они плохо ищут.

В гетто поднялась страшная паника. Все испуганы, растеряны. Одну за другой в геттовскую тюрьму отводят группы «нарушителей». Женщины, увидев среди задержанных своих мужей и братьев, рыдают, кричат, проклинают. Всех испугала угроза Мурера, что он не потерпит игнорирования своих приказов. Он запретил вносить в гетто продукты, а "verdamnte Juden" ("проклятые евреи") его не слушаются. Чтобы проучить всех, будет расстреляно сто спекулянтов!

Оказывается, ночью часть задержанных все-таки выпустили. Расстреляли десять женщин, работавших в Новой Вильне и попавших в руки самого Мурера. Их увезли. Старший конвоир даже расписался, что принял их от начальника геттовской тюрьмы и отвечает за их доставку в Понары...

Вот и ноябрь. Холодно. Скоро зима. Выдержим ли мы, если даже не будет акций?

Одно утешение — этой зимой гитлеровцам уже наверняка будет конец. Их крепко бьют. Сколько времени уже идут бои под Сталинградом, а занять город им не удастся. Красноармейцы героически защищают каждый клочок земли, каждый дом.

Гитлеровцам худо не только на фронтах, но и тут, на оккупированных землях. Один человек мне по большому секрету сказал, что и геттовские партизаны — члены ФПО — вооружаются. Притом оружие, конечно, не вносят через ворота, а доставляют тайно, самыми неожиданными способами: через канализационные трубы, под дровами и даже в гробах.

Тот же человек мне сказал, что этих геттовских партизан еще очень немного, но в этом виноват Генсас. Он постоянно твердит, что только послушанием и хорошей работой можно избежать Понар. Но если, мол, власти узнают, что в гетто есть хоть один партизан, немедленно взорвут все гетто.

Позавчера в гетто привезли тяжело раненного в живот динстлейтера геттовской полиции Шлэсберга. (Вернувшись из лагеря лесорубов, он, кажется, был назначен начальником Решского торфяного лагеря.) Сразу же в больницу прибыл и Генсас. Во время их беседы в палате никого не было, поэтому неизвестно, что рассказывал раненый. Но говорят, что в него стреляли свои. Шлэсберг все время грозился сообщить Генсасу о том, что они поддерживают связь с действующими в окрестных лесах партизанами и сами собираются туда уйти. Поэтому его и "успокоили".

Генсас уже официальный «владыка» гетто. До сих пор считалось, что есть два начальника: председатель «юденрата» А. Фрид и шеф геттовской полиции Я. Генсас (хотя фактически до сих пор управлял один Генсас). Теперь официально объявлено, что Генсас имеет право и уполномочен управлять гетто по своему усмотрению. Словом, он «фюрер» гетто.

Шефом полиции будет Деслер (бывший комендант второго участка). А. Фрид назначается заместителем Генсаса по административным делам.

Гита мне рассказала много интересного об одной комсомолке — Соне Мадейскер. С фальшивым паспортом, как полька, она должна была перейти линию фронта и добраться до Великих Лук. Но ее поймали. На допросе она молчала. Ее приговорили к смертной казни. В последний вечер ей удалось вырваться из фашистских когтей.

Соня Мадейскер вновь вернулась в Вильнюс. Нелегально живет в городе и, не страшась никаких опасностей, продолжает

действовать, помогает доставлять оружие, приходит в гетто, поддерживает связь с работающими в подполье городскими коммунистами.

Опять невеселые новости: Мурер ни с того ни с сего стал проверять квартиры.

На прошлой неделе он неожиданно зашел в гетто и завернул в первый попавшийся двор. Ударом ноги отворил ближайшую дверь и устремился прямо к полке для продуктов. Найдя только корочку хлеба, велел показать, что варится в кастрюле. Убедившись, что там вода с горсточкой крупы, бросился к шкафу. Осмотрел, нет ли одежды без звезд. Разозленный неудачей, зашел в другую квартиру. К счастью, и там ничего запрещенного не оказалось.

Несколько дней назад он снова сделал налет. В одной квартире случайно заметил завалявшуюся на подоконнике уже высохшую губную помаду. Избил попавшуюся под руку женщину.

Сразу на улицах был вывешен приказ Генсаса (кажется, уже второй такой), запрещающий женщинам носить украшения (интересно, у кого они еще есть?) и употреблять косметику.

Теперь геттовская полиция и сама тщательно проверяет в квартирах полки, кастрюли и шкафы.

До сих пор тайники были необходимы для людей, теперь они нужны для пищи.

Свои записки и стихи я тоже спрятала. Не дай бог, найдут — всех заберут. Мама говорит, что надо записывать не все. Советует выучить самое важное наизусть, потому что, возможно, записи придется уничтожить. Если Мурер и дальше будет обыскивать квартиры, она не намерена ради моих записей рисковать жизнью детей и нас самих. Да я и так помню все почти наизусть. Пока на этой проклятой работе найдешь кусок бумаги, «пишешь» в уме и зубришь, чтобы не забыть.

Немного расширили гетто. Отдали несколько домов на улице Месиню до улицы Страшно. Таким образом, гетто досталась и улица Ашменос. Кроме того, нам «подарили» участки нескольких дворов в домах, тыльная часть которых граничит с гетто, но фасад уже выходит на свободную улицу, за пределами гетто, по Немецкой улице — с 21-го по 31-й номер. Вход в эти дворы — через дыры в стенах домов по улицам Месиню и Ашменос. Туда переселили всех, чьи квартиры граничили с мастерскими или другими нужными помещениями.

Мы теперь живем на Немецкой улице, в доме 31. Нашу половину двора отделяет высоченная толстая стена. Кирпичи плотно сцементированы, нет ни малейшей щелочки, сквозь которую мы могли бы хоть взглянуть на тот, запрещенный двор.

Даже балкон пересекает глухая стена. Нам оставлены только квадрат мощеного двора и кусок неба между стенами. Мы словно в большом четырехугольном сухом колодце, из которого невозможно вылезти. Гитлеровцы очень придирчиво проверяли, чтобы подвалы и чердаки делимых домов тоже были наглухо замурованы, чтобы не осталось ни малейшего отверстия даже для кошки.

В наш двор перевели слесарные мастерские. На Рудникку, 6 расширены столярные мастерские, открыты швейная и вязальная. Грузовики привозят в гетто кипы рваных и окровавленных шинелей, перчаток, носков, белья, а вывозят чистые, заштопанные и залатанные.

Расширены и сапожные мастерские, особенно отдел «манильских» туфель. Здесь из манильской пеньки делают женские туфли. Они разноцветные и очень красивые. Сопровождая гитлеровцев по гетто, Генсас никогда не проходит мимо этого отдела. Здесь всегда стоят несколько десятков пар самых красивых туфель для подарков. Приведя сюда немцев, Генсас заискивающе-вежливо спрашивается, какая пара господину начальнику больше всего понравилась и куда бы он приказал ее доставить, как маленький сувенир из гетто. Из кожи лезет вон, чтобы только угодить гестаповцам.

Но «манильские» туфли еще не все.

Есть и химические лаборатории, где изготавливаются крем для обуви, зубная паста, пудра и даже мыло из конины. Всю эту продукцию забирает городское управление.

Есть в гетто и часовая мастерская. Конечно, не для нас, а для гитлеровцев. Мы уже почти забыли, как выглядят часы. Но отремонтировать старые нашим мастерам, наверно, не так интересно, как делать новые. По проекту одного инженера группа специалистов изготовила для гетто сюрприз — электрические часы, которые повесили посреди улицы, на углу Рудникку и Диснос.

Часы подключены к городской сети, потому что гетто получает электрический ток всего несколько часов в день.

Я, кажется, забыла записать, что уже не работаю у Палевича — уволили. Зимой мы не нужны.

Работаю в казармах на Большой улице. Должна убирать весь этаж — солдатские спальни, комнаты офицеров, канцелярию, столовую, коридор и лестницу. Иногда еще велят идти на кухню чистить картошку.

Работа очень тяжелая, зато «прибыльная». Иногда от солдат остается немного супу. Сливаю в котелок, забинтовываю руку, подвязываю ее косынкой, а локтем прижимаю к себе дорогой суп.

Если у ворот гетто полицейский начинает обыскивать, я делаю страдальческую мину: болит рука. Каждый раз стараюсь попасть к другому полицейскому, чтобы моя рука не примелькалась.

Я уже трижды пронесла так котелок.

Сегодня я узнала очень грустную весть. Даже маме еще не рассказала.

На работе, когда мы чистили картошку, на повара напал очередной «приступ» издевательства. Одну из нас поколотил за то, что она обратилась к нему не так, как было нам приказано, — не "уважаемый господин повар", а как-то иначе; другой велел поднять большущий котел картошки, который обычно поднимают два солдата. Она, конечно, не осилила, и он ее тоже избил. Больше ничего не придумав, начал «допрос»: кто где родился, где жил, что делал до войны. Услышав, что я жила в Плунге, повеселел. Он служил вместе с одним плунгенским — Беньямином Шерасом. В субботу, в канун войны, Беньямина прислали с полигона в Вильнюс за какой-то проволокой (он электромонтер). Но тут началась война, пришли немцы. Узнав, что он комсомолец, они его убили и зарыли во дворе казармы. Глубокую яму копать поленились, на голову навалили камень.

Беньямин — папин двоюродный брат...

Вчера был очень грустный вечер: мама долго не возвращалась с работы. Мы уже собирались бежать к кому-нибудь из ее бригады узнать, что случилось, когда она сама пришла. Оказывается, она, сорвав желтые звезды, рискнула пойти на нашу старую квартиру, в город. Может, принесет что-нибудь из старых вещей — уже совсем нечего менять на хлеб... Не предупредила, чтобы мы не волновались. Ходила напрасно — ничего не принесла...

Думала, что не выдержим здесь вторую зиму, а ведь живем. Еще более голодные, совсем оборванные, зато не такие напуганные, не такие пришибленные. Не то чтобы меньше боялись всяких акций, нет, но говорят теперь уже не только об этом. Особенно мужчины. Говорят о поражениях гитлеровцев на фронте, о партизанах в лесах и о ФПО в самом гетто.

Я очень люблю слушать эти разговоры. Тогда свобода начинает казаться ближе, осязаемее. Начинаю фантазировать, как все произойдет, как нас освободят, как вернемся домой, встретимся с папой.

Ох, скорее бы!..

Расстреляли певицу Любу Левицкую. Так приказал Мурер. Она умерла из-за полутора килограммов гороха, которые хотела внести в гетто.

Проезжая мимо, Мурер увидел Любу Левицкую и Ступеля, идущих по улице Этмону. Мурер остановил их и велел показать,

что они несут. У Левицкой нашел горох, а у Ступеля еще и картошку. Он приказал увести их в Лукишкскую тюрьму.

Арест этот переживали все.

Рассказывают, что Люба в тюрьме пела. Даже бездушные надзиратели не запрещали. Она все надеялась, что ее спасут. Но дни уходили, силы иссякали, стала иссякать и надежда.

В тюрьме Левицкая мучилась недолго — неполные две недели. Собрав небольшую группу таких же «преступников», фашисты всех увезли в Понары.

Везли на открытом грузовике. Люба всю дорогу пела. Когда везли по улицам города, конвоир ее избивал, чтобы она умолкла, но потом махнул рукой: никакая сила не могла заставить умолкнуть внезапно окрепший голос. Она пела! Одну песню кончала, другую начинала — и так всю дорогу. Даже у ямы она затянула свою любимую песню "Два голубка". Кончить ее не успела...

Гитлеровцы объявили траур! Три дня должны быть закрыты театры, кино, рестораны и другие увеселительные заведения.

Ура!!! Они скорбят по своим дивизиям, разбитым под Сталинградом. Если бы только было где, мы бы организовали танцы. Впервые за все время я бы танцевала! Веселилась бы от всего сердца — наконец дождалась того, что у оккупантов траур.

И ленинградская блокада уже, оказывается, прорвана! Теперь как начнут их гнать, как начнут! А ведь только февраль. Они еще и намерзнутся!

Из казармы меня уволили. Теперь работаю на мебельной фабрике «Вильнюс» полировщицей. С утра до вечера полирую лыжи. Политуры мало, а лыжи должны блестеть. Вот и натираю их целый день.

На днях на все столы, верстаки и подоконники разложили листовки. В них оккупанты агитируют молодежь ехать в Германию на работу. На листовках фотографии красивых комнат с белыми кроватями и шелковыми занавесками. Под снимками надпись, что так живут все приезжие. Но никто из рабочих не спешит зарегистрироваться. Мастер рассказывал, что завтра после этих листовок здесь появились и другие, тайные листовки. Там было написано, что все фашистские обещания — чистая ложь, приманка, что молодежь Литвы не должна им верить; нужно оставаться на месте и бороться против угнетателей, за свободу.

Гитлеровцев гонят! Уже освобождены Воронеж, Харьков, Ростов и многие другие города.

Март. Первый месяц весны. Но здесь это не чувствуется — холодно, грязно. Да и грустно, хотя радуют их поражения. Но как

подумаю, что мы еще так далеко от фронта, а каждый день может принести роковое несчастье, так и надежды гаснут. Наверно, нужно быть очень сильной, чтобы постоянно верить. Не только когда есть хорошие вести с фронта, а всегда, даже теперь, когда нас так унизили, приравнивали к собакам, подвесили на шею номерок.

В гестапо, наверно, решили, что мы слишком мало мечены, что звезд и удостоверений для таких "опасных элементов" мало. Приказали бюро регистрации провести перерегистрацию (по имевшимся ранее данным) и выдать «паспорта» и жестяные номерки.

"Паспорт" — обыкновенная, желтая, сложенная пополам твердая бумага. На ней фамилия, имя, отчество, год и место рождения, семейное положение, цвет глаз и волос, овал лица, рост. Здесь же и отпечатки пальцев. А ведь отпечатки, по-моему, берут только у преступников.

Номерок — круглый, из простой жести. Края плохо обрезаны. В жести выдавлена шестиконечная звезда, в трех углах которой буквы «WG» (Вильнюсское гетто) и «W» или «M» (женщина или мужчина). Наверху — дырочка для веревки.

Мужчин и женщин регистрировали отдельно. И номера «паспортов» одних и других начинаются от единицы. Женщин на несколько тысяч больше, чем мужчин.

Так называемый паспорт всегда надо иметь при себе, а номерок вообще нельзя снимать с шеи — ни днем, ни ночью. Полицейские из охраны ворот обязаны строго проверять, у всех ли есть номерки при выходе на работу и при возвращении в гетто.

Мне эта проклятая жесть в первый же день расцарапала кожу. Кроме того, она начала чернеть. Мама научила из тряпочки сшить футлярчик. Оказывается, не мы одни такие умные. Но какой-то гитлеровец это заметил и рассвирепел. Нахальные «Juden» — они еще берегут кожу!

Но что делать, если эта жесть так больно царапает тело? Кто-то изобрел новый фасон футлярчика: сверху незашитый. Если кто требует показать номерок, надо потянуть за веревочку, и он вынимается, а футлярчик остается за пазухой.

Я была на очень интересном вечере ритмической пластики. Маленькие девочки выполняли разные упражнения, а девочки постарше — танцевали. Мне очень понравился танец "Обиженная невеста". Но самое сильное впечатление оставил созданный и поставленный балетмейстером Ниной Герштейн танец "Желтая звезда". Не могу его забыть, он все время перед глазами.

...На сцену выбегает маленькая девочка. Она танцует весело, беззаботно, словно красивый мотылек. Внезапно темнеет. Сверху

сползает большущая шестиконечная желтая звезда. Музыка грозная, мрачная. Девочка пугается. На фоне черного занавеса звезда действительно кажется очень страшной — словно большой притаившийся паук. Девочка хочет убежать, вырваться. Она мечется, умоляет, грозит, но все напрасно — она падает словно подкошенная... Было бы точнее, если бы показали паучью свастику, но все и так понимают смысл: ведь именно свастика заставила нас носить эту желтую звезду.

В окрестных местечках (Ашмене, Михалишках и других) были акции. Расстреляно около трех тысяч человек.

Еще три тысячи... Убитых уже десятки, сотни тысяч!

В этих местечках совсем ликвидируют гетто. Гитлеровцы считают, что теперь, когда в окрестных лесах кишмя кишат партизаны, евреи, живя недалеко от лесов, в маленьких местечках, безусловно, свяжутся с партизанами. Поэтому евреев переселяют в Вильнюсское и Каунасское гетто.

Похоже, что на этот раз действительно переселят — туда послали геттовских полицейских, которые должны будут провести регистрацию.

Вчера послали еще несколько отрядов геттовской полиции, они перевезут людей.

Сегодня появились первые переселенцы, их привезли на телегах. На каждой второй телеге — вооруженный гитлеровец.

При въезде в гетто считают. Кроме того, впускают не всех сразу, а группами. Держат недалеко от гетто, на улице Арклю.

Обманули...

Из всех увезенных в Каунас спаслось всего несколько мужчин. Они тайком пробрались в гетто и рассказали жуткую правду. Сначала все шло нормально. Их везли поездом. Вагоны мчались длинной грохочущей змеей. Пробегали поля, леса, станции и полустанки.

Все были спокойны. Только гадали: как будет в Каунасе? Когда будущее неизвестно, оно кажется похожим на прошлое. А это прошлое в воспоминаниях всегда выглядит чуть лучше, чем оно было на самом деле.

Вдруг поезд стал замедлять ход. Лес! Ямы. И гитлеровцы...

Одни бросились ломать оконные решетки. Другие кричали как одержимые, кулаками стучали в стены. Из тех вагонов, где охранники сидели в дверях, мужчины их сталкивали и прыгали. Бежали врассыпную, во все стороны — одни прямо в лес, другие вдоль путей, третьи — через поле. Охранники начали стрелять. Прибежали и палачи, ожидавшие у ям. А люди все равно прыгали из вагонов и бежали. Молодые, старые, женщины, дети — никто не оставался в вагонах. Раненые падали, здоровые набрасывались

на солдат, вырывали из рук винтовки, душили, но падали, скошенные пулями. Раненые корчились в муках, звали на помощь. Другие, обезумевшие от страха и боли, просили, чтобы их прикончили. Солдаты ругались, перевязывали друг друга искусанные руки, гонялись за несчастными по путям, полям, канавам; спотыкались о раненых и убитых, вонзали в стонущих штыки. И все равно не могли справиться: из вагонов все еще бежали. Один солдат помчался к машинисту — велел ехать. Но людей ничто не удерживало. Одни, прыгая из маневрирующего поезда, попадали под колеса, другие, падая, ломали ноги, а новые все равно прыгали...

Покончив со всеми бежавшими, солдаты вытаскивали из вагонов горсточки забившихся в углу стариков и беспомощных женщин. Гнали к ямам. В лесу снова гремели выстрелы...

Пути бы усеяны трупами. И в канавах полно. Даже на лугу, далеко-далеко, где только видит глаз, чернели трупы. Еще недавно это были жизнерадостные мужчины, красивые женщины, дети... Между телами ходили палачи. Пинали ногами, били прикладами, переворачивали. Заподозрив, что жертва еще жива, втыкали в живот штык. Рылись в карманах, в брошенных свертках. Найдя что-нибудь подходящее, пихали за пазуху.

Потом они уехали. Осталась только охрана. Она будет стеречь трупы...

Ночь... Земля тяжело дышит: ее давят трупы невинных людей.

С самого утра гитлеровцы приказали Генсасу выслать двадцать пять геттовских полицейских, которые должны будут собрать трупы и сбросить их в яму. С рельсов их скинули (и так поезд опоздал почти на час), но надо собрать и снести в ямы.

Задание геттовской полиции сообщено совершенно открыто. Это чтоб мы знали: сопротивляться или бежать не имеет смысла...

Геттовских полицейских увозят под усиленной охраной. Они подавлены и расстроены: носить трупы не только неприятно, но и страшно — фашисты не любят оставлять свидетелей своих преступлений...

Под вечер в гетто въехало несколько телег с одеждой расстрелянных.

Все знаем, что расстреливают голыми. Не новость и то, что одежду из Понар вывозят. Но ее никогда не привозили в гетто, мы ее не видели. А то, чего не видят глаза, не так гнетет.

Телега движется по узкой мостовой. Одежда шевелится, будто живая... Свисающий рукав. Вчера утром человек, одеваясь, засунул в него руку. А теперь эта рука уже застыла... Детское пальтишко... Сколько лет было ребенку, который его носил?

Шапка. Кажется, будто она прикрывает срубленную голову. Шапка скользит... Под нею торчит ботинок...

Хочется плакать, выть, кусаться, кричать: ведь вчера, еще только вчера под этой одеждой бились сердца, дышали теплые тела! Еще вчера это были люди! А сегодня их уже нет! Убили! Вы слышите — убили!

Геттовские полицейские вернулись поздно. Вид у них ужасный. Одного привезли без сознания: в изуродованном трупe с раздробленной головой он узнал свою мать...

Они почти ничего не рассказывают. Только сообщили, что трупов очень много, собрать их не успели и завтра снова надо будет ехать.

Собирать остальные трупы послали других геттовских полицейских.

Гетто погружено в траур...

Переводят Мурера. Все ему желают по дороге на новое место свернуть шею. Кого назначат на его место, пока неизвестно.

На место Мурера назначен Китель, уже прославившийся своими зверствами, уничтоживший несколько гетто и рабочих лагерей. Говорят, что он был артистом кино. Променил свою профессию на ремесло палача...

Выходит, что акции и жестокости Мурера были ничто по сравнению с тем, что нас еще ждет...

Гетто зашевелилось: одни собираются уйти к партизанам, другие разыскивают своих друзей в городе (может, спрячут?), третьи готовят убежища в самом гетто.

Мурера здесь уже нет. Перед отъездом он был в гетто. Мы боялись, чтобы он свое прощание не «ознаменовал» кровавой акцией, но, к счастью, он был спокоен. Даже неизвестно, зачем приходил.

Настроение кошмарное: Китель собирается начать свое властвование с кастрации мужчин.

Оптимисты пытаются вдохнуть надежду, что сам, по своему усмотрению, он за это не возьмется, запросит Берлин, а пока получит ответ, еще все может измениться.

Никто не верит утешителям, и все ходят страшно подавленные...

Давно ничего не записывала. То ли жара виновата, то ли настроение. Правда, и особых новостей не было. А теперь пишу на рассвете после очень беспокойной и бессонной ночи. Да и неизвестно, что ждет нас днем. Может, эта запись будет последней. Китель грозит ликвидировать гетто. Но опишу все по порядку.

Ночь началась очень беспокойно. Определенного мы ничего

не знали, но уже тот факт, что все ночные пропуска отменены и никто, за исключением геттовской полиции, не имеет права появиться на улице, ничего хорошего не предвещал.

Сосед все же осмелился выйти — надо ведь знать.

Прильнув к окнам, мы тоже старались что-нибудь увидеть, услышать, понять. Но слышали только то далекие, то близкие свистки полицейских, топот ног, ругань. Грянуло несколько выстрелов. Кто-то крикнул. Побежали. Шаги отдалились.

Наконец сосед вернулся. Принес очень грустную весть. В городе выслежен подпольный городской комитет коммунистической партии. Следы ведут и в гетто. Гестапо приказало Генсасу арестовать члена городского комитета коммунистической партии И. Витенберга (он, оказывается, руководитель ФПО).

Генсас вызвал Витенберга к себе, а тот, еще не зная, зачем его зовут, пошел. Генсас его арестовал и передал уже ожидавшим городским полицейским. Но когда Витенберга вели через гетто, товарищи-партизаны напали на полицейских с оружием, освободили своего командира и спрятали. Среди освобождавших был один усач*, которого я знаю в лицо. Значит, он член ФПО! (*Это был С. Каплинский, впоследствии командир партизанского отряда "За победу".)

Генсаса такая неудача взбесила. Вместе со своими полицейскими он бежит, ищет. Дело в том, что гестапо предъявило ультиматум: если не получит Витенберга, ликвидирует гетто. Тогда придет конец и самому Генсасу, и всей его полиции. Поэтому они лезут из кожи вон.

Скоро утро. Кончаю писать. Выпустят на работу или нет?

Я только что вернулась с работы. Вести грустные: Витенберг в гестапо.

Теперь я подробнее узнала о событиях ночи и дня.

Оказывается, узнав об аресте Витенберга, геттовские партизаны стали по цепочке передавать свой пароль "Лиза зовет"*, что означало немедленную мобилизацию и боевую готовность всех членов ФПО. (*Одну девушку, члена ФПО, по имени Лиза (ее фамилию мне так и не удалось выяснить), перед этим задержали при попытке внести в гетто оружие. Ее расстреляли. Имя Лиза стало символом борьбы.)

Напрасными были попытки Генсаса снова найти Витенберга. Вооруженные геттовские партизаны отбили несколько попыток геттовских полицейских приблизиться к дому, в котором они забаррикадировались.

Генсас решил изменить тактику. Приказал передать Витенбергу ультиматум гестапо: или Витенберг — или все гетто.

Вскоре «парламентарий» Генсаса вернулся с ответом: партийная организация не считает, что выдачей Витенберга можно спасти гетто. Если Киттель уже заговорил о ликвидации, значит, ликвидирует. Но партизаны окажут сопротивление, будут бороться против фашистов. И Витенберг, их командир, будет руководить.

Словом, Витенберга гестапо не получит.

А время безжалостно двигалось вперед. Генсас снова послал связного.

И вдруг Витенберг объявил, что пойдет сам: он не хочет быть причиной смерти двадцати тысяч человек. Он попрощался с товарищами, попросил продолжать борьбу и решительно пошел к Генсасу, куда вскоре должны были приехать гестаповцы.

С той стороны гетто, у ворот дома, где жил Генсас, остановилась крытая машина гестапо*. Когда Генсас вывел Витенберга, вооруженные охранники его сразу схватили и втолкнули в машину. Она тронулась... (*Генсас жил во дворе комендатуры геттовской полиции. Этот дом граничил с улицей Арклю, находившейся уже вне гетто. Ворота на улицу Арклю, конечно, были наглухо замурованы, но калитка в них, по просьбе Генсаса, была ему оставлена. Ключ от этой калитки находился у Генсаса, и пользоваться этим выходом мог только он один. Не желая вести Витенберга через все гетто, чтобы опять чего-нибудь не случилось, Генсас вывел его тайно, через свою калитку).

Витенберга, наверно, будут мучить, а потом убьют.

Не знаю, сколько я сама буду жить, но за это я должна быть благодарна Витенбергу. Сегодня он меня спас. Не только меня — маму, Миру, детей, тысячи матерей и детей...

Оказывается, у Витенберга был при себе яд, и в гестапо он отравился.

Сосед полагает, что, очевидно, выследили не весь подпольный городской комитет. Наверно, из гетто в состав горкома входил не один Витенберг. Раз других не требуют, значит, о них ничего не знают*. Но партизан, конечно, будут искать. (*Членами подпольного городского комитета партии были и секретарь геттовской партийной организации Б. Шершнеvский и Х. Боровская, которая при ликвидации гетто вместе с большим отрядом вышла через канализационные трубы, пробралась в лес и стала комиссаром партизанского отряда "За победу".)

В лес партизанить ушел большой отряд членов геттовской ФПО. В основном те, кого во время поисков Витенберга видели с оружием в руках. Им здесь оставаться вдвойне опасно*. (*Это были Б. Шершнеvский, Р. Бурокинская (секретарь геттовской комсомольской организации), братья Л. и Г. Гордоны, И.

Дубчанский, Р. Шершневецкая, И. Мицкевич и другие.)

Что ни день, то новость. В связи с тем, что люди уходят к партизанам, Генсас приказал всем бригадирам представить охране ворот список своей бригады и ежедневно, утром и вечером, сообщать, сколько человек выходят из гетто на работу и сколько возвращаются назад.

Недавно в городе поймали одного члена ФПО — Свирского, нашли у него оружие, увели в Лукишкскую тюрьму. Из гетто туда привезли и двух его дочек. Когда солдаты пришли в камеру за отцом, младшая бросилась к нему, обвила руками шею и не отпускала. Солдат выстрелил, и девочка мертвая упала на пол камеры. Свирского со старшей дочерью увели в Понары.

А сегодня утром один геттовский полицейский из охраны ворот задержал парня, пытавшегося внести в гетто оружие. Парень просил отпустить его, объяснял, что это оружие для борьбы с гитлеровцами. Уверял, что в этой борьбе должны быть заинтересованы все: ведь в конце концов гитлеровцы и геттовскую полицию не пощадят. Но полицейский ничего не хотел слушать. Он стал кричать, что из-за таких вот горячих голов может пострадать все гетто. А если жить спокойно, работать и не сопротивляться, немцы, дескать, ничего плохого не сделают. "А с револьвером против автоматов и танков все равно не пойдешь. За этот револьвер могут истребить все гетто..."

Потеряв надежду по-хорошему договориться с упрямым полицейским, парень выстрелил в него и, воспользовавшись суматохой, исчез.

Раненого полицейского отнесли в больницу. Вскоре туда прибыла геттовская власть. Приказали врачу принять все меры для спасения раненого. Но ничто не помогло — рана была смертельная, и полицейскому пришлось проститься с жизнью.

Грустные вести: вышедшую на днях в лес группу у Мицкунского моста ждала засада. Завязалась борьба. К сожалению, силы были слишком неравные. Из всего отряда в живых осталось только несколько человек...

Но это не отпугнуло других: снова вышли два отряда. В большинстве холостяки. Семейным труднее двинуться.

Прошлой ночью в нашу квартиру тихо постучали. Это были двое геттовских полицейских. Извинившись за беспокойство, они велели нашему соседу Кауфману прийти с семьей к Генсасу. Кауфман с женой ушли, а ребенка оставили с бабушкой. Но вскоре полицейские вернулись и передали просьбу родителей принести ребенка. Старушка его тепло укутала и понесла.

Мы забеспокоились: раз ночью прислали за ребенком, значит, над гетто нависла опасность, а своих людей Генсас хочет спасти.

Кауфман был знакомым Генсаса, бригадиром рабочих в «Хересбауштеле», членом учрежденного Генсасом "совета бригадиров".

Бабушка вернулась, но ничего не смогла рассказать. Ребенка отдала матери. Сидят они в помещении уголовной полиции, там еще есть несколько бригадиров с семьями. Зачем их вызвали, никто не знает.

Мы еле дождались утра. На улицах совершенно спокойно, люди собираются на работу, а бригады, чьи бригадиры вызваны к Генсасу, пойдут без них. Кто-нибудь заменит на один день.

Вечером, вернувшись с работы, я узнала все...

Оказывается, ночью в помещении уголовной полиции, где собрали целую группу бригадиров с семьями, Генсаса, от имени которого их здесь собирал комендант рабочей полиции Товбин, так и не дождались.

Под утро Товбин передал просьбу Генсаса перейти в геттовскую тюрьму. Люди заволновались. Что это означает? Но, видя, что в гетто тихо, успокоились. Кроме того, комендант тюрьмы Бейгель тоже уверял, что им ничто не грозит.

Бригадиры поверили и успокоились.

Но вскоре они услышали, что со стороны города, по Лидской улице, подъезжает машина*. На лестнице послышался топот солдатских сапог и голоса геттовских полицейских — они кого-то гнали из соседней камеры. Те не хотели идти, что-то объясняли, но никто их не слушал. Во дворе слышался и голос Генсаса. Бригадиры сидели перепуганные, затаив дыхание. (*Тюрьма, как и двор, в котором жил Генсас, имела запасную калитку в город. Ключ от этой калитки был у коменданта тюрьмы. Пользовались калиткой редко, только в тех случаях, когда сидевших в тюрьме хотели передать оккупантам тайно от жителей гетто.)

Когда машина отъехала, к ним в камеру зашел улыбающийся Бейгель. Он сообщил, что опасность миновала. Скоро они уже смогут идти домой.

Но что все-таки было?

Оказывается, Китель потребовал расстрелять всех бригадиров, из чьих бригад хоть один человек ушел к партизанам.

Но поскольку эти бригадиры были приближенными Генсаса, он вместо них отдал других людей. Бригадиры скоро пойдут домой.

Вдруг снова послышался шум подъезжающей машины. Остановилась. Солдаты стучат в калитку!

Перепуганный Бейгель открыл. Мимо него пронесся разъяренный Китель. Приказал вызвать Генсаса.

Китель кричал на него, выругал, пригрозил, что не потерпит такого обмана, и потребовал настоящих бригадиров.

В камере слышно каждое слово... Генсас велит открыть дверь...

Жена Кауфмана подбегает к окну. Второй этаж. Решетка. Внизу с самого утра стоит бабушка. Мать осторожно просовывает ребенка между прутьями и, крикнув: "Пусть хоть он живет!" — отпускает. Прижимая к сердцу плачущего внука, старушка провожает сына и невестку на смерть...

Их уже нет. Об этом сообщил сам Китель. Под вечер он пришел в гетто, велел всех созвать на собрание и объявил, что несколько часов назад в Понарах расстреляны тридцать два человека — одиннадцать бригадиров и их семьи. Им пришлось умереть за то, что плохо следили за членами своих бригад. Пусть все знают, что с сегодняшнего дня за каждого ушедшего в лес к партизанам будет расстреляна вся его семья, бригадир и другие «Juden» этой бригады. Властям прекрасно известно, кто уходит к партизанам, потому что по дороге их все равно вылавливают. Пусть расстрел тридцати двух человек будет уроком для всех. Пусть «Juden» никого не обвиняют: если бы они сами таким путем не навлекли на себя смерть, могли бы работать, а значит — жить. И еще: он, Китель, не потерпит обмана, подобного сегодняшнему, когда вместо настоящих бригадиров ему подсунули каких-то стариков.

По гетто ходят мальчишки с плакатами. На них написано, что завтра, в воскресенье, в зал театра созываются все бригадиры и рабочие. Генсас произнесет важную речь.

В своей речи Генсас рассказал о бригадирах — то, что все уже слышали. Приказал следить друг за другом: если еще кто-нибудь уйдет к партизанам — расстреляют не только семью ушедшего и бригадира, но и всю бригаду. Чтобы легче было следить друг за другом, бригада теперь должна быть разделена на группы по десять человек. В каждой десятке будет один старший, который отвечает за всю группу. Сами люди тоже должны быть бдительны: узнав или хотя бы заподозрив, что кто-то собирается уходить к партизанам, они обязаны об этом немедленно сообщить.

"Этим, — говорил Генсас, — они спасут не только себя, но и всю бригаду".

В нашей бригаде уже есть группы. Слава богу, что я слишком молода и меня никто даже не предлагал быть старшей. Все отказывались, никто не хотел брать на себя такую ответственность.

Август начинается с добрых вестей: освобождены Орел и Белгород! В Москве по этому поводу был салют.

Сколько уже освобожденных городов! Но все они далеко от Вильнюса. Взрослые говорят, что здесь Красная Армия может быть только через полгода, не раньше. Еще целых шесть месяцев... А может, даже больше. Нет, нет, не думать об этом! Верить, только верить!

Китель — не человек! Человек не может быть таким чудовищно жестоким!

В Кенский торфяной лагерь он приехал в очень хорошем настроении, с целой свитой и с подарками — папиросами, табаком и мармеладом. Курево велел раздать лучшим рабочим, а мармелад — их детям. Осмотрел лагерь, рабочие места. Спросил, есть ли в лагере парикмахер, и велел побрить себя.

Старший лагеря и сами рабочие никак не могли понять, что это значит. Кто-то пытался шутить, что гитлеровцам, наверно, уж очень туго, если едут к евреям в гости, да еще с гостинцами. Но большинство, прекрасно помня, что и в гетто перед акциями давали по карточкам лучшие продукты, смотрели на все это недоверчиво. Может, мармелад отравлен?

А Китель на этот раз пустился в разговоры и очень обнадеживающе ответил на несколько несмелых вопросов о будущем лагеря.

Походив, побрившись, велел всем рабочим собраться в сарай — он произнесет речь.

В своей речи он велел хорошо работать и, главное, не связываться с партизанами. Немецкая власть вовсе не собирается истребить евреев: ей нужна рабочая сила. Будут работать — будут жить! А немецкая власть со своей стороны постарается улучшить им условия работы, питание.

Хоть и невероятными казались такие слова, легковерным они улучшили настроение.

Кончив говорить, Китель направился к двери. Свистнул — и словно из-под земли выросли солдаты. Пропустив его, они закрыли дверь. Люди забеспокоились, стали кричать, стучать в стены и дверь. Но никто не отвечал. Поднялась паника.

Каждый рвется к двери, словно надеясь, что он там сможет что-нибудь сделать. Все кричат, толкаются. Одни пытаются успокаивать, просят не поднимать панику и не выдавать свой страх: может, их только временно изолировали, может, в лагере будут делать обыск, проверят, нет ли оружия. Других пугает, что Китель, наверное, хочет вывести семьи и оставить в лагере одних только работающих. Поднялись еще больший шум, крик, стоны, угрозы, мольба. Люди пытаются высадить огромные двери сарая, пробить стены. Но напрасно. Стены крепки и глухи. Глухи и хохочущие снаружи немцы...

Вдруг сквозь щели стал пробиваться дым. Пожар!!! Крики превращаются в дикие вопли. Кулаки стучат с еще большим остервенением. Люди карабкаются по балкам, ищут выхода через крышу.

А дым густеет. Какой-то парень достает револьвер. В другое время ему не позволили бы им воспользоваться, а теперь даже велят. Он стреляет в воздух. Раз. Другой. Еще несколько раз. Но никакого ответа. А он выпустил все пули, даже последней не оставил для себя...

Показывается пламя. Оно ширится, близится. Борясь с удушающим дымом, люди кричат, зовут на помощь: может, оставшиеся в бараках женщины услышат и прибегут спасать.

А пламя наглеет, подбирается ближе. Крайние пятаются от его языков, проталкиваются поближе к середине. Но тесно, все очень плотно прижаты друг к другу, некуда двигаться. У нескольких уже загорается одежда, волосы. Обезумев от боли, они рвутся в середину, где пламени еще нет. От них загораются другие. Те тоже хотят вырваться, бежать. Но куда?.. Только зря толкаются, зря пытаются сбить друг с друга огонь, кричат от боли. Несколько человек уже упали без сознания. На них наваливаются другие. Пламя еще больше свирепеет, спешит обнять всех, поглотить, спрятать в красной жаре.

Вдруг со стороны барачков послышались дикие вопли женщин, крики о помощи. Они тоже горят! И дети, маленькие дети!!! Гаснущее сознание живых пронзает ужас...

Проваливается крыша, падают стены. Горит большой костер из людей и бревен...

А Китель со своими приятелями стоит невдалеке на горке и любит зрелищем...

Когда ему надоело смотреть, он сел в машину и умчался. Солдатам приказал следить, чтобы пламя не перекинулось на ближайшие деревья, и не уходить отсюда до тех пор, пока костер не догорит. Затем хорошенько размешать пепел. Когда пожар будет окончательно ликвидирован, они также могут вернуться в Вильнюс.

Костер горел долго. Потом солдаты долго размешивали пепел с кусками сгоревших костей...

Когда солдаты убрались, здесь остался хозяйничать ветер. Он теребил пепел, гонял, поднимал...

Спаслись только два человека. Заметив приготовления гитлеровцев, они убежали, спрятались в канаве, под мостиком, лежали там, пока все гитлеровцы не уехали. Потом пробрались в гетто и все рассказали.

Китель ликвидировал и Решский торфяной лагерь.

Говорят, что после одного столкновения с партизанами фашисты в лесу нашли шапку, под подкладку которой было засунуто удостоверение на имя рабочего Решского торфяного лагеря.

Этот лагерь Китель ликвидировал проще. Расстрелял людей и там же закопал...

Я слышала, что убили одного члена ФПО — Тиктина. Из находящегося в Бурбишках гитлеровского склада он сумел как-то достать оружие. Заметив, что его обнаружили, пытался бежать, но его догнала вражеская пуля.

Что будет? Ведь ясно, что долго так продолжаться не может. Гитлеровцы прекрасно видят, что в гетто уже не те послушные, запуганные люди, которых можно всячески обманывать, делать с ними что угодно. Теперь все как могут сопротивляются. Витенберг, ФПО, массовый уход к партизанам, "каунасская акция", во время которой люди даже голыми руками оказывали сопротивление, бросались на охранников...

Ведь фашисты этого не потерпят. Кое-кто уверяет, будто они не имеют права по своему усмотрению, без согласия высших властей, ликвидировать большие гетто. Но ведь высшие власти это разрешение, безусловно, дадут. Для них что Кенский лагерь, что Решский, что Вильнюсское гетто — все равно.

Что будет?

Пока что они все больше сжимают оковы. Всем нанимателям разослана подписанная гебитскомиссаром инструкция, как обращаться с работающими у них «Juden». Необходимо следить, чтобы они не ходили без звезд или даже с плохо пришитыми звездами. Нельзя разбивать на мелкие группы, а тем более посылать работать по одному. Запрещается выпускать «Juden» за пределы места работы, даже с провожатым. Необходимо изолировать их от рабочих других национальностей. Если замечается малейшая непокорность и недовольство, надо немедленно сообщить немецкой власти. Запрещаются любые льготы. Если на работе есть столовая, «Juden» не только запрещается там кормить, но даже впускать. За невыполнение этих указаний руководители предприятий будут привлекаться к ответственности.

И все равно молодежь уходит к партизанам.

Вчера вместе с возвращающимися с работы в гетто прибежал страшно испуганный, в перепачканной и рваной одежде человек. Он юркнул во двор Руднинку, 7 (там живут все работающие на аэродроме).

Он рассказал, что днем их внезапно окружил большой отряд солдат. Приказал бросить работу и выстроиться. Людей охватил

страх. Однако бежать было немыслимо: охранники их окружили крепкой цепью. Какой-то гитлеровец сказал, что их везут в Эстонию на работу.

В это уже давно никто не верит...

Не вернулось с работы еще несколько крупных бригад. Гетто похоже на кладбище.

Чем дальше, тем хуже. Пошли слухи, что евреев отовсюду увольят. Оставят только в нескольких местах, и то немногих.

Неисправимые оптимисты пытаются уверять, что это невозможно: пока гетто существует, оккупанты будут стараться использовать как можно больше рабочей силы. Ликвидировать же гетто они сразу не могут, нужно разрешение. А фронт стремительно приближается, и, пока они получают это разрешение, Красная Армия уже может быть так близко, что фашисты будут думать не о гетто, а о собственной шкуре.

Если бы так было!

"Арбейтсамт" уже получил список предприятий, откуда увольняются все евреи. Мы с мамой тоже уволены...

Сегодня очень странный день. Утром все по привычке собирались на улице, на своих местах. Мы с завистью смотрели на те немногие бригады, которые все-таки выходят на работу.

Оставшихся больше, чем ушедших. Непривычно в такое время дня видеть здесь столько людей, особенно мужчин. Некуда идти, нечего делать. Есть тоже нечего.

Оказывается, несчастья не имеют границ. Нам казалось, что хуже уже быть не может. Вот и может...

Завтра уже никто не выйдет на работу, уволили и последних. Гетто будет закрытым, изолированным от всего мира.

Ночью было спокойно.

Сегодня утром я слышала, будто Генсас уверял, что все, кто работал и хочет работать, получают работу, только не в городе, а в самом гетто. Увольнения произведены будто бы только для того, чтобы не было возможности уходить к партизанам. Расширяются мастерские, особенно швейная и вязальная. Будут работать в три смены. Получено много шинелей и белья, которые надо срочно выстирать и починить. В мастерские принимают новых рабочих.

Работаю в вязальной. Она очень большая — на весь зал «юденрата». Сидим по двадцать человек за столом. Старшая приносит кипу рваных перчаток, мы довязываем пальцы или половины пальцев и возвращаем. Работаем в три смены.

Есть нечего. Правда, по карточкам сейчас выдают более аккуратно, но ведь так мало! Чем дальше, тем труднее переносить голод.

Мне почему-то кажется, что гетто теперь похоже на старую

машину, из которой вывинчены все винты. Пока никто ее не трогает, она еще держится, но если кто-нибудь хоть пальцем тронет — рассыплется.

Утром, едва мы начали работу (на этой неделе я работаю в утренней смене), пронесся слух, что гетто окружено. Мы бросили работу и хотели бежать домой, но старший смены не выпустил. Закрыв дверь и велел оставаться на местах. Он сам выйдет на улицу проверить.

Ждем. Работать, конечно, уже не можем. Волнуемся, гадаем и все поглядываем на дверь.

Наконец он вернулся. Взглянув на него, мы поняли, что слухи подтвердились. Побежали домой.

Что делать? Куда деваться? Спрячешься в одном месте — может, как раз там найдут. А спрятался бы в другом — уцелел бы.

Ничего не успели — солдаты уже в гетто. Мы бросились в подвал. Здесь сыро, пахнет плесенью. В каждой стене лаз, проход в другой такой же подвал, а оттуда — в третий. Этот подвал, наверно, разветвлен под всем домом.

Прибежали и из других квартир. Нас тут, очевидно, очень много. Тесно, темно, двигаемся на ощупь. Дети плачут. Нас гонят в глубь подвала, у лестницы останутся несколько мужчин. Они будут прислушиваться к тому, что творится наверху.

В темноте я потеряла маму и Рувика. Они, наверно, в другом конце. Раечку держу крепко за руку, чтобы хоть ее не потерять. А Мира осталась на работе, в своей мастерской.

Мы устали стоять. Сели. Холодно, сыро, но хоть ноги отдохнут. Раечку я посадила к себе на колени.

Что наверху? Окончательная ликвидация или только очередная акция?

Время тянется. Тихо.

Начали говорить, что надо бы одному вылезти наверх и узнать, что творится.

Оказывается, в подвале есть и геттовский полицейский. Утром, поддавшись общей панике, он тоже прибежал в подвал. Ему, конечно, наименее опасно вылезть наверх.

Старательно почистившись и пообещав скоро вернуться, он вылез.

Уже прошло много времени, а его нет. Если хватают и полицейских, значит, ликвидация. Конец...

Вдруг слышится стук. Никто не отвечает. Стук повторяется. Это возвратился полицейский.

Ему открывают. Официальным, приказным тоном он велит всем выйти из подвала.

У выхода стоят еще двое геттовских полицейских. Женщин и

детей пропускают, а мужчин задерживают. Кричат, чтобы не сопротивлялись, потому что повезут в Эстонию на работу.

Но кто им верит?

Поднимается страшный плач и крик. Мужчины бегут назад, в подвал, полицейские гонятся за ними, ловят.

Собрав, уводят.

Я выхожу на улицу. Солдат здесь совсем немного, зато суетятся геттовские полицейские. Оказывается, Генсасу поручено самому собрать нужные три тысячи мужчин. Вся ФПО мобилизована и находится в нескольких дворах по улице Страшно, готовая к бою. Геттовские полицейские это знают и, боясь столкновений, обходят эти дворы.

Однако выполнить приказ оккупантов Генсасу не так легко: мужчины попрятались. Генсас сам бегает по дворам с непокрытой головой, без пальто и орет, чтобы люди добровольно вышли из убежищ. Им ничто не угрожает, он ручается, что повезут в Эстонию на работу. Но если они не выйдут, то навлекут несчастье на все гетто.

Никто не выходит — ему давно уже не верят.

Скоро стемнеет, а еще нет даже тысячи. Генсас совсем взбесился. Пригрозил полицейским: если не соберут нужного количества — сами пойдут. Теперь рассвирепели и они.

Бегают, гонят, кричат, бьют. Вбежали в синагогу (бывшую квартиру в угловом доме, на углу улиц Шяулю и Месиню, верующие превратили в синагогу) и вытащили десяток испуганных стариков, бормочущих молитвы. Погнали их к воротам. Там, оказывается, был Китель. Увидев, какой «товар» ему дают, он обругал полицейских и велел гнать стариков назад в гетто.

Полицейские об этом рассказывают на каждом шагу. Мол, лучшее доказательство, что берут на работу.

До сумерек удалось поймать только тысячу триста человек. А нужны три тысячи...

Раздался свисток. Акция окончена. Измотавшихся полицейских отпустили домой. Но только до завтрашнего утра.

Гетто осталось окруженным.

Сегодня было то же самое. Ловля мужчин продолжалась. Многих увезли, а несколько сот погребены заживо.

Неизвестно, каким образом гитлеровцы узнали, что в подвале дома 15 по улице Страшно прячется много мужчин. Войдя вместе с Генсасом во двор, фашисты через рупор объявили, что все укрывающиеся в подвале этого дома обязаны немедленно выйти во двор. Если не выйдут — будут взорваны! Пусть женщины спасают своих мужей и братьев, пусть уговаривают их

выйти. То же самое повторил и Генсас. Все напрасно. Потянулись минуты — одна, две, пять, но никто не появился. Старший из фашистов приказал всем женщинам в течение пяти минут покинуть дом. Солдаты начали подготавливать взрыв. Взрывчатку клали только под левую половину дома, там, где подвал.

Среди женщин поднялся страшный переполох. Одни спешили поскорее выбежать со двора, другие пытались помешать солдатам готовить взрыв, третьи бегали как обезумевшие к подвалу и назад — то кричали, чтобы мужчины выходили, то чтобы оставались. Некоторые, более спокойные, стояли у входа и отгоняли паникерш: подвал глубокий, бетонированный и взрыв ему не повредит.

Увидев, что солдаты уже сами бегут со двора, женщины тоже пустились бежать.

Страшно грохнуло. Я стояла поодаль и то чуть не оглохла. Каменная стена накренилась, как будто припала на колени, и распалась. Поднялось облако пыли. Когда оно немного рассеялось, показались развалины. Половины дома как будто и не было.

Женщины сразу же бросились во двор откапывать подвал. Каждая тащила что могла — кирпичи, доски, проволоку. Во двор спешили все новые помощницы. Я побежала домой предупредить маму, где нахожусь, и тут же вернулась помогать.

В одном месте мы нащупали тело. Стали разгребать дальше. Откопали бедро, руку и детскую ножку. Мне стало жутко, и я выбежала на улицу. Вернулась только тогда, когда тела матери и ребенка, завернутые в простыню, унесли в морг.

Внезапно за нашими спинами вырос немецкий солдат. Он запретил откапывать. Если люди не хотели подчиниться немецкому приказу, они должны умереть. Он будет стрелять в каждую, кто посмеет приблизиться или поднять хотя бы один кирпич.

А требуемых трех тысяч и к вечеру еще не собрали. Завтра акция будет продолжаться.

Сегодня гитлеровцы обнаружили геттовских партизан (во дворе дома 12 по улице Страшно). Те бросили в них несколько гранат. Тогда фашисты совсем озверели и тут же взорвали весь дом, похоронив под его руинами не только бойцов, но и находившихся там женщин и детей.

Но за их жизнь гитлеровцы тоже заплатились. Генсас не знал, как оправдаться. Он уверял, что в гетто нет партизан, есть только послушные и хорошие рабочие. А это всего несколько молокососов, с которыми он живо справится.

Генсас с еще большим остервенением стал ловить мужчин.

Делал вид, будто не замечает, что вместе со своими мужьями выходят и одетые в мужскую одежду жены, не желавшие с ними расстаться. Неважно, лишь бы было количество! Из самых сильных мужчин и хулиганов он организовал "вспомогательную полицию", которая не только помогала полицейским ловить людей, но, главное, охраняла спортивную площадку, где находились члены ФПО, и никого оттуда не выпускала. Генсас приказал не давать им общаться с жителями гетто, чтобы они не могли агитировать восстать против немцев. Он боится восстания, настоящего вооруженного столкновения с убийцами.

Наконец эта четырехдневная акция кончилась. Гетто уже не окружено.

Сегодня, в последний день, попался приятель Генсаса, связанной между геттовским и городским «арbeitsамтами», — Браудо.

Все эти дни он тоже бегал, приказывал, ловил, задерживал. Сегодня, заметив недалеко группку фашистов, очевидно, хотел перед ними выслужиться. Вытянул из голенища сапога плетку и бросился за кем-то. Но, вытягивая плетку, он выронил какие-то бумаги. Гитлеровцы его остановили и велели показать бумаги. Браудо пытался отговориться, что-то объяснить, но гитлеровцы не хотели слушать. Пришлось показать. А это были документы на чужое имя и другую национальность. Фашисты его избили и втолкнули в грузовик, где уже сидели другие пойманные. Не помогли и старания Генсаса спасти его. Наоборот, гитлеровцы специально проверяли, не сбежал ли этот тип.

Акция кончилась. Охрана снята. Что будет дальше?

А ведь сентябрь. Начало учебного года. И снова без меня. В школе меня уже, наверно, забыли. Или считают погибшей.

Генсас выслал самых крепких полицейских и почти всю вспомогательную полицию на улицу Расу, где, как и в прошлый раз, держат пойманных для увоза в Эстонию. Полицейские должны были помочь посадить их в вагоны.

Но они вскоре вернулись: вагоны будут только завтра.

Весть, что все мужчины живы и ждут вагонов, немного расшевелила гетто. Но все равно оно какое-то оцепеневшее от отчаяния.

Геттовские полицейские снова были на улице Расу. Вернувшись, рассказывали, что всех посадили в эшелон, который уже сегодня ночью отбудет в Эстонию.

Но полицейские принесли и другую, худшую весть. Они слышали, что на вокзале вывешена (или в ближайшие дни будет вывешена) надпись: "Juden frei". Это значит, что в городе больше нет евреев...

Вчера расстреляли Генсаса. Мы узнали об этом только сегодня, но и вчера около полудня почувствовали, что беспокойно. Кто-то рассказал, что приходил посланец от Нойгебоера и забрал у Генсаса и Деслера оружие — два револьвера и гранаты, которые они в свое время получили для "служебного пользования".

Генсаса вызвали в гестапо.

Стало темнеть. Он все не возвращался. Утром мы узнали, что его расстреляли.

Где и как его расстреляли, никто не знает. Но говорят, что не в Понарах. Никому его не жаль, может, только полицейским.

Хоть и был привилегированным, хоть усердно служил оккупантам, все равно не избежал общей участи.

Все повторяют одно и то же: гитлеровцы никогда не оставляют ни пособников, ни свидетелей своих злодеяний.

А то, что он был пособником, это факт. Иначе ему бы так не доверяли, он не пользовался бы разными привилегиями. Он имел право ходить по городу без звезд и по тротуару; мог не только бывать, но даже ночевать в своей старой квартире в городе, где остались жить жена и дочь. Жена, правда, литовка. Но дочь ведь обязана была жить в гетто. По гитлеровской расовой теории даже третье поколение от смешанного брака с евреем считается полуевреями.

Чем-то все-таки и Генсас не угодил фашистам...

Наш сосед из первой комнаты уверяет, что, если бы Генсас не дурачил так людей, уговаривая, что только послушанием можно избежать Понар и дожидаться свободы, а сопротивлением все равно ничего не сделаем, жители гетто более активно включились бы в борьбу с оккупантами.

Из квартиры Генсаса увезли всю мебель и вещи. Гетто без председателя. Наверно, назначат Деслера. Он все равно теперь самый старший.

К сожалению, будем иметь совсем нежелательного председателя — самого Кителя. Он приказал оборудовать

кабинет. Сам выбирал мебель и велел ее срочно обновить.

На фронте гитлеровцев бьют. Красная Армия наступает у Смоленска. Так недолго осталось до свободы!

Мире удалось уйти из гетто. Надеется, что добрые люди ее спрячут или достанут фальшивые документы. Может, ей удастся и нас отсюда вызволить?

Снова...

Китель потребовал тысячу мужчин на работу в Эстонию. Все повторилось сначала: солдаты окружили гетто, а полицейские ловили.

Около полудня мы узнали, что удрал Деслер с женой, захватив всю геттовскую кассу. Исчез и комендант охраны ворот Левас.

Значит, уже совсем плохо...

Китель со своей свитой расхаживает по гетто. Улочки пусты. Мы сидим за закрытыми дверями и занавешенными окнами, только сквозь щелочки решаясь наблюдать за гестаповцами.

Днем Китель приказал подать ему обед. Он со своей свитой пьянствует, а полицейские ловят мужчин. Но теперь это еще труднее: никто не хочет им повиноваться.

Под вечер Китель вышел из кабинета. Несколько комендантов участков униженно просили его продлить акцию еще на один день, потому что они не успели собрать нужное количество людей. Но Китель объявил, что он вообще отменяет акцию. Пойманных мужчин можно отпустить домой.

Приказав опечатать квартиру Деслера, Китель ушел. Отмаршировала и охрана, окружавшая гетто.

Над нами опустилась тяжкая, беспокойная ночь.

Тихо. В гетто ни одного гитлеровца. Очевидно, потому, что воскресенье. Ворота наглухо закрыты. Никто не входит, никто не выходит. Если бы дали так жить, пусть совсем без пищи! Кажется, вытерпели бы. Ведь уже совсем скоро здесь будет Красная Армия!

Китель снова в гетто. Вместо Деслера шефом полиции назначил Оберхарта.

Привезли десять грузовиков шинелей и перчаток. Говорят, что на станции стоят семь вагонов. Если бы собирались гетто ликвидировать, не стали бы привозить новую работу.

Поздний сентябрьский вечер. Нас снова сковал свинцовый страх. Еще ничего не случилось, в гетто нет ни одного гитлеровца, а люди волнуются.

Ночью в швейную мастерскую (где работала ночная смена) пришел Оберхарт и велел срочно сшить ему форменную повязку. Ждал, пока она будет готова, и ушел, надев ее на рукав. Он был неразговорчив. Но чувствовалось, что он сам не свой.

Рассвело. Серое утро. Гетто засуетилось: люди с детьми и узлами спешат в убежища. На этот раз и полицейские поддались общей панике. А это еще больше усилило страх.

Пришел Китель с несколькими гестаповцами. У ворот их встретил Оберхарт и проводил во двор «юденрата». По дороге приказал полицейским, еще не бросившим своих постов, созвать всех жителей гетто для важного сообщения.

Побежала и я.

Гитлеровцы поднялись на крыльцо деслеровской квартиры. Приказали принести рупор. Один прочел приказ шефа гестапо о том, что евреи Вильнюсского гетто, помещенные сюда два года назад, эвакуируются в рабочие лагеря: один в Эстонии, другой здесь же, в Литве, недалеко от Шяуляя. Эвакуироваться необходимо в течение одного дня. С собой можно взять столько вещей, сколько в состоянии нести.

От себя он прибавил, что советует взять ведро, кастрюлю и прочую хозяйственную утварь, потому что на новом месте этого не дадут. В течение четырех часов мы должны подготовиться.

Объяснив, еще раз прочел приказ. Потом Оберхарт дважды повторил его по-еврейски.

Все. Надо идти домой и в одиннадцать собраться на улице Руднинку.

Приношу маме грустную весть. Раечка поднимает на нас испуганный взгляд: "А может, они говорят неправду и погонят в Понары?" Что ей ответить? Что и сама о том же думаю?

Мама велит детям освободить портфели — она вложит каждому немного белья.

— А мои книжки не возьмем? — испуганно спрашивает Рувик. — Там не разрешат читать?

— На свободе, детка, будешь читать, — утешает его мама. Но ее голос так дрожит, что Рувик очень недоверчиво смотрит на нее.

Мама укладывает вещи. Дети съезжились на койке и боязливо следят за ней. Видя, что она плачет, они тоже моргают своими большими глазенками.

Пытаюсь убеждать, что не надо плакать — может, на самом деле повезут в лагерь. Если там даже будет хуже, все равно вытерпим: уже совсем недолго осталось ждать освобождения. Но и сама в этот лагерь не верю, и мои слова не утешают.

Стою у окна. Во дворе грязь. А весной здесь будет сухо. Не только здесь — везде. Будет белеть яблоневый цвет. От ветра лепестки будут шевелиться словно живые. И будет пахнуть. А небо будет голубое-голубое. И бесконечно большое. Как хорошо было бы на него смотреть! Или приколоть к волосам цветочек. Я-

то уж умела бы радоваться, если бы осталась в живых!

Мама сказала, что пора идти.

На улочках полно людей. Молчаливые, угрюмые, они плетутся в одном направлении — к улице Руднинку. Одни тащат большие узлы, другие идут почти налегке. Может, это и разумно: зачем еще затруднять себя в последние часы?

Я несу чемодан, узел, а через плечо — папино осеннее пальто, которое учитель Йонайтис тогда принес к воротам гетто. Мама все не решалась его продать, приберегала "на самый черный день".

На улице Руднинку столпотворение. Наверно, идут все. Если ликвидация, нет смысла оставаться в убежище. Гитлеровцы, наверно, прибегнут к тем же методам, что и после ликвидации второго гетто: в том районе была отключена вода, всюду поставили охрану. Кто пытался, мучимый жаждой, выбраться из убежища, был пойман. А остальные погибли без воды.

Приближаемся к воротам. Здесь столько хожено за эти два года. Приду ли я сюда еще когда-нибудь? Увижу ли эти дома, окна, башню костела, торчащую по ту сторону ворот?

У выхода стоят Нойгебоер, Китель, Вайс и еще несколько гестаповцев. Они считают выходящих. Один тычет в нас палочкой, добавляет к общему числу нас четверых, и мы выходим.

По обеим сторонам улицы, на тротуарах, стоят солдаты с собаками. Не проскользнешь.

Плетемся по Этманской улице, пересекаем Большую и поворачиваем на Субачаус. Филармония. Здесь наш школьный хор выступал на олимпиаде.

Идем по улице Субачаус. Уже совсем нет сил тащить вещи. Папино пальто не держится, соскальзывает с плеча. Очевидно, не мне одной тяжело: в грязи валяются брошенные узлы. Из-за них еще труднее идти, надо перешагивать или обходить. А сил совсем нет. Мама велит бросить пальто, но я не могу. Кажется, будто брошу самого папу.

Пальто все же соскальзывает. Хочу поднять, но кто-то наступает на рукав. Пытаюсь вытянуть, но на меня орут, что теперь уже нечего трястись над тряпкой. Мама просит не отставать, чтобы не потеряться.

Пальто осталось. Его безжалостно топчут...

Недалеко от улицы Расу останавливаемся. Давка. Передние почти не двигаются, а задние наступают.

Что случилось? Ведь не может быть, чтобы расстреливали тут же, в городе. Может, сажают в машины?

Оказывается, гонят в какие-то ворота, за костелом. Мужчин оставляют здесь, на улице, только уводят немного вперед, а

женщин и детей — во двор.

Жены, прощаясь, плачут, желают своим мужьям долго жить (их, наверно, повезут на работу). Идущая рядом с нами пара прощается необычайно спокойно — пожимают друг другу руки и расходятся, словно скоро должны встретиться. Молодая женщина пробирается назад. В ее руках мужская одежда. Очевидно, хочет здесь же, в толпе, переодеться и идти вместе с мужем.

Двор большой. В нем полно солдат. Тут же, на траву, кладут больных, привезенных из больницы. Одни лежат прямо на земле, других оставили на носилках. Наверно, после операции или парализованные, если сами не могут идти. Между ними вертятся, не зная куда приткнуться, посиневшие от холода сироты из детдома. Бедняжки с бритыми головками дрожат в своей жалкой одежонке.

Нас гонят дальше, а овраг. Его тоже окружают солдаты. Даже далеко, где за оврагом проходит узенькая улочка, около каждого дома и на крышах стоят солдаты с пулеметами...

Значит, здесь... в самом городе...

Ноги вязнут, еле вытаскиваем. Шлепая по грязи, приближаемся к солдатам. Один уже поднял автомат... Нет, это он только показывает, чтобы мы шли дальше. Наверно, будет стрелять в спину. Оглянуться страшно. Хоть бы попал прямо в сердце!..

Все-таки оглянулась. Солдаты стоят, как стояли — равнодушно-злые.

В овраг гонят все больше людей. Мы уже устали стоять. Я опустила чемодан в грязь. Мама ничего не сказала. Мы с нею сели на чемодан. Детей посадили к себе на колени.

Из гетто тянется нескончаемый поток. Надоедливый дождь не прекращается ни на минуту. Мы уже совсем промокли. Течет с волос, с носа, с рукавов. Мама велит детям выше поднять ноги, чтобы не промокли. Рядом с нами другая мать устраивает для своих детей тент: воткнула в землю несколько веток и накрыла пальто. Как странно в такое время бояться насморка...

Мама плачет. Упрашиваю, хотя бы ради детей, успокоиться. Но она не может. Только взглянет на нас и еще горше плачет.

А люди все идут и идут... В гетто мы думали, что нас меньше. Скоро стемнеет. В овраге уже стало тесно. Одни сидят на месте, другие почему-то ходят, бродят, перешагивая через людей и узлы. Очевидно, потеряли своих.

Темнеет. Пока еще видно, буду смотреть на деревья, птичьи гнездышки, ветви, на далекие дома, на каждое их окно. Ведь, наверно, всего этого больше не увижу. Все живет: каждый листочек, капелька дождя, даже малюсенькая мушка. Она и

завтра будет жить, а нас уже не будет... Нет! Я не пойду в Понары! Я останусь здесь! Зароюсь в землю, но никуда не пойду! Я не хочу умирать!

Но ведь и те, ранее расстрелянные, тоже не хотели...

Стемнело. Все еще идет дождь. Охранники время от времени освещают нас ракетами. Стерегут, чтобы мы не убежали. А как убежать, если их так много?

Рувик вздрагивает во сне. Он задремал, уткнувшись в мое плечо. Его теплое дыхание щекочет мне шею. Последний сон. И я ничего не могу сделать, чтобы это теплое, дышащее тельце завтра не лежало бы в тесной и скользкой от крови яме. На него навалятся другие. Может, это даже буду я сама...

Опять выпустили ракету. Она разбудила Рувика. Широко раскрыв глазки, он испуганно огляделся. Глубоко, совсем не по-детски, вздохнул.

Раечка не спит. Она уже совсем замучила маму вопросами: погонят ли в Понары? А как — пешком или повезут на машинах? Может, все-таки повезут в лагерь? Куда мама хотела бы лучше — в Шяуляй или в Эстонию? А когда расстреливают — больно? Мама что-то отвечает сквозь слезы. Раечка гладит ее, успокаивает и, подумав, снова о чем-то спрашивает.

Еще одна ракета освещает овраг, соседние улочки, застывших солдат.

Мама все еще всхлипывает: "Таких детей отдать, таких детей!".

Ночь тянется очень медленно...

Наконец темнота начинает еле заметно таять. Наверно, скоро поведут.

Уже почти светло. Кто-то осмелился спросить охранника, почему нас здесь держат. Удивительно, но тот все-таки ответил. Сказал, что вчера не успели «очистить» гетто, поэтому сначала всех приведут сюда.

Совсем близко от нас на ветку сел воробей. Повертел головкой, огляделся и упорхнул. Улетел в ту сторону, за охрану. Воробью можно.

Из гетто пригнали новых. Среди них и семьи полицейских. Самих полицейских задержали у ворот, как и всех мужчин. Все-таки не избежали общей участи.

К нам подсела одна из вновь пришедших. Она видела, что наверху, во дворе, повесили двух мужчин и одну девушку — геттовских партизан. Их задержали в городе — не желая сдаваться, они отстреливались. Одного гитлеровца они уложили, нескольких ранили. Но фашистов было больше. Партизан окружили, выбили из рук оружие и связанными пригнали сюда,

на казнь. Говорят, что убитый гитлеровец — следовательно по делам партизан Гросс.

Все трое партизан встретили смерть героически, высоко подняв головы, улыбаясь. Даже девушка, еще совсем ребенок, с презрением посмотрела палачу в глаза и плюнула ему в лицо. Повернулась к оврагу — пусть все видят, что она улыбается!..

Сидевшие ближе узнали их. Это были Ася Биг, И. Каплан и А. Хвойник.

Охранники велят нам вставать и подниматься наверх, во двор. Вещи промокли, облеплены грязью. Но они и не нужны. Чемоданчик я все-таки взяла, а узел так и оставила торчащим в грязи.

Во дворе толкотня. Еле-еле продвигаемся к противоположным воротам. Чем ближе к ним, тем больше давка. Неужели не выпускают? Из оврага приходят все новые и новые. Разве удержишь такую массу? Нас уже совсем сдавили.

Что там творится у ворот? Избивают? Связывают? Или очень уж медленно сажают в машины?

Оказывается, ворота закрыты. Пропускают только через калитку. Приближаемся и мы. Выпускают по одному. Мама беспокоится, чтобы мы не потерялись, и велит мне идти первой. За мной пойдет Рувик, за ним Раечка, а последней — мама. Так она будет видеть всех нас.

Выхожу. Солдат хватается меня и толкает в сторону. Машин там не видно. Поворачиваюсь сказать об этом маме, но ее нет. Поперек улицы — цепочка солдат. За нею — еще одна, а дальше большая толпа. И мама там. Подбегаю к солдату и прошу пустить меня туда. Объясняю, что произошло недоразумение, меня разлучили с мамой. Вон она там стоит. Там моя мама, я хочу быть с нею.

Говорю, прошу, а солдат меня даже не слушает. Смотрит на выходящих из калитки женщин и время от времени толкает то одну, то другую в нашу сторону. Остальных гонит туда, к толпе.

Вдруг я услышала мамин голос. Она кричит, чтобы я не шла к ней! И солдата просит меня не пускать, потому что я еще молодая и умею хорошо работать...

Еще боясь понять правду, я кричу изо всех сил: "Тогда вы идите ко мне! Иди сюда, мама!" Но она мотает головой и странно охрипшим голосом кричит: "Живи, мое дитя! Хоть ты одна живи! Отомсти за детей!" Она нагибается к ним, что-то говорит и тяжело, по одному, поднимает, чтоб я их увидела. Рувик так странно смотрит... Машет ручкой...

Их оттолкнули. Я их больше не вижу.

Влезаю на камень у стены и оглядываюсь, но мамы нигде нет.

Где мама? В глазах рябит. Очевидно, от напряжения. В ушах звенит, гудит... Откуда на улице река? Это не река, это кровь. Ее много, она пенится. А Рувик машет ручкой и просится ко мне. Но я никак не могу протянуть ему свою руку... Почему-то качаюсь. Наверно, островок, на котором стою, тонет... Я тону...

Почему я лежу? Куда исчезла река?

Никакой реки нет. Лежу на тротуаре. Надо мной наклонились несколько женщин. Одна держит мою голову, другая считает пульс.

Где мама? Я должна увидеть маму! Но женщины не разрешают вставать: у меня был обморок. А ведь раньше никогда не бывало.

Пришли Китель с Вайсом и еще какими-то гестаповцами. Женщины быстро подняли меня. Гитлеровцы осмотрели нас и велели строиться по десять в ряд.

Считают. Несколько раз. Очевидно, ошибаются. Китель кричит стоящим у ворот солдатам, чтобы они добавили сюда еще семерых, и хватит. Всех остальных надо посылать налево.

Нас тысяча семьсот. Мы двинулись. Я поворачиваю голову туда, где остались мама и дети... Через калитку все еще идут...

Нас ведут по улице Расу. Приводят в большой двор, очевидно, недалеко от станции, потому что здесь рельсы и товарные вагоны.

Отсчитывают по восемьдесят и расставляют у вагонов. Тронуться с места нельзя: будут стрелять.

Около вагонов вертятся железнодорожники. Одни проверяют, выстукивают колеса, другие просто глазеют на нас. Девушки, которые посмелее, тихонько спрашивают, не знают ли они, куда нас повезут. Одни пожимают плечами, другие боязливо оглядываются, не заметил ли охранник, что мы с ними заговариваем, третьи успокаивают. Только один молодой парень издевается, говорит, что нас повезут в Понары. Он сам будто бы поведет поезд.

Наконец отодвигают вагонные двери и приказывают влезать. Вагоны очень высокие, и мы с трудом карабкаемся, тянем друг друга за руки. А солдаты торопят, бьют, велят поскорее забираться. В вагоне уже битком набито, а все еще гонят. Солдаты сами берутся "наводить порядок" — бьют прикладами по головам, пинают ногами, чтобы мы сдвинулись плотнее.

Подошел гитлеровец, задвинул дверь и закрыл ее на засов.

Темно. Под самой крышей несколько окошек, и те с решетками. Какая-то женщина в углу вздыхает: "Даже лошадей в этих вагонах не в такой тесноте возили". И снова тишина... Гитлеровцы ходят вдоль эшелона, покрикивают, что-то приказывают. Надоедливо стучит дождь...

Где теперь мама? Что с ними со всеми сделают? Может, будут еще раз отбирать? Вряд ли... Тот железнодорожник говорил ведь, что и нас повезут в Понары. Так зачем отбирали? Наверное, не было вагонов, чтобы везти всех сразу, и решили «пошутить». А завтра, пьянствуя, будут хвастать друг перед другом, как остроумно нас одурачили. Отобрали самых здоровых, молодых, а мы, дуры, поверили, что везут на работу... Плачу. Что я сделала? Что сделала мама, другие люди? Разве можно убивать только за национальность? Откуда эта дикая ненависть к нам? За что?

Вагон дернулся. Едем... А мама? Где она? Почему нас разлучили? Ведь и умереть было бы не так страшно рядом с нею.

Отдаляемся от Вильнюса...

Женщины стали говорить, что поезд замедляет ход. Понары!!

Сидевшие ближе к окошку подняли одну девушку. И та подтвердила, что мы у леса. Конвоиры с площадок вагонов выпускают ракеты и освещают лес. Видно проволочное ограждение. Вдали, меж деревьев, что-то желтеет. Может, песок у ям? Поезд еле-еле движется. Сейчас остановится... Вот и день моей смерти... 24 сентября 1943 года. Нет! Я не пойду! Пусть застрелят на месте, но туда я не пойду!

Дернуло... Остановился?.. Нет!.. Еще едет. Даже набирает скорость! Из Понар?!

Снова едем... Колеса стучат, увозят все дальше от Вильнюса, от мамы. Где она теперь?

Ночь. Все еще долгая темная ночь. Если бы я хоть на минуточку могла вытянуть затекшие ноги...

В окошках светлеет. Рассветает. Поезд останавливается. Нельзя ли попросить воды? Очень хочу пить.

Снова едем. Мне душно, жарко и очень, очень плохо. Если б колеса не стучали так громко, может, мы дозволили бы конвоира, попросили бы воды. Может, он хоть на минутку открыл бы дверь, впустил хоть капельку свежего воздуха. Ведь мы задыхаемся.

Поезд опять останавливается. Очевидно, большой город: слышно, что на вокзале много народу.

Мимо эшелона проходят люди. Стучим кулаками в стены, кричим, чтобы открыли. Никакого ответа. Поднятые к окошкам женщины просят у каждого проходящего мимо железнодорожника хоть капельку воды. Но те только пожимают плечами и показывают, что конвоиры не разрешают.

Неожиданно кто-то подходит к двери и отодвигает ее. Воздух!

Появляется конвоир. Рычит, чтобы мы не шумели; если он услышит еще хоть один звук — всех расстреляет!

Уже, наверное, далеко за полдень, а поезд все еще стоит. Единственное, что мы знаем, — мы в Шяуляе. Может, здесь на

самом деле есть лагерь?

Одна женщина предлагает выбросить через окошко записку. Она дает клочок бумажки, я — карандаш и на четырех языках записываем, кто мы, откуда и когда нас вывезли. Может, кто-нибудь найдет, узнает о нас.

Темнеет, а мы все еще здесь. Ноги ужасно болят. Кажется, переломятся в коленях.

Под утро поезд тронулся. Опять едем. А куда?..

Вскоре снова остановились. Но уже не пытались выяснить, где мы. И вообще стояла странная тишина. Словно ни у кого больше нет сил ни плакать, ни разговаривать. Даже думать.

И так весь долгий день — поезд больше стоял, чем ехал.

Вечером остановился в каком-то лесу, но сразу опять поехал. Ночью мчался с бешеной скоростью.

Опять остановился. Сначала не обратили внимания. Но вдруг встрепнулись: говорят по-немецки! И собаки лают!

Кто-то отодвинул дверь и ослепил нас фонариком. Обвел стены, углы и крикнул: "Heraus!" — "Вон!". Первые еще не успели выпрыгнуть, а в вагон уже влезли солдаты и стали нас толкать, бить, гнать. А ноги после такого долгого сидения скрючившись — словно свинцовые.

Вытолкнули и меня. К счастью, я упала на руки. В спину больно ударил выброшенный мне вдогонку чемоданчик. Еле встала.

У каждого вагона та же картина.

Нас выстроили. Тут же в лесу. Паровоз прогудел, дернул свои вагоны и потянул их за собой. Умчался. Наверно, обратно в Вильнюс. А нас оставил здесь, в чужом лесу...

Погнали по протоптанной тропе. Она освещена. Фонари не замаскированы. Вдали видны еще огни, тоже незамаскированные. Они освещают колючую проволоку. Постовой открывает ворота.

Лагерь! Бараки. Они длинные, деревянные, одноэтажные. Окна слабо освещены. Кругом спуют люди. Все почему-то в полосатых пижамах. У одного барака происходит что-то странное: такие полосатые прыгают из окон. Выпрыгнут и бегут обратно в барак, снова появляются в окнах и опять прыгают. А гитлеровцы их бьют, торопят. Люди падают, но, поднятые новыми ударами, опять спешат прыгать. Что это? Сумасшедшие, над которыми фашисты так подло глумятся?

Нам велели все вещи сложить в одну кучу на площадке перед баракom. В бараки с вещами не пустят.

Площадку охраняют два солдата. Здесь же несмело вертятся несколько одетых в полосатую одежду мужчин. Они тихонько спрашивают, откуда мы. Мы тоже хотим узнать, куда попали.

Оказывается, мы находимся недалеко от Риги, в концентрационном лагере «Кайзервальде». Если у нас есть курево или продукты — лучше поделиться с ними, потому что гитлеровцы у нас все равно отберут. Прыгающие через окна не сумасшедшие, а самые нормальные люди, наказанные за какую-то ерунду. Здесь за все наказывают, да еще не так. Одеты они вовсе не в пижамы, а в полосатую арестантскую одежду. Убежать нет надежды, потому что через проволоку пропущен ток высокого напряжения. Еды дают очень мало — двести пятьдесят граммов хлеба и три четверти литра так называемого супа. Часто в наказание оставляют на несколько суток совсем без еды. Они голодают. Если мы им ничего не можем дать — они побегут назад, потому что за разговор с женщиной наказывают двадцатью пятью ударами плети.

Как страшно!

Наспех вытаскиваю из чемодана свои записки, сую за пазуху. Но все забрать не успеваю: постовой прогоняет.

Нас выстраивает немка, одетая в эсэсовскую форму. Неужели тоже эсэсовка? Наверно, да, потому что она орет и избивает нас... Сосчитав, дает команду бежать в барак и снова начинает бить, чтобы мы поторопились. У дверей давка. Каждая спешит шмыгнуть в барак, чтобы избежать плети. Другая эсэсовка стоит у дверей и проверяет, все ли мы отдали. Заметив в руках хоть малюсенький узелок или даже сумочку, гонит назад положить и это. При этом, конечно, тоже бьет.

Барак совершенно пустой — потолок, стены и пол. На полу сенники, а в углу — метла. Все.

Надзирательница кричит, чтобы мы легли. Кто не успевает в то же мгновение опуститься, того укладывает метла. Бьет по голове, плечам, рукам — куда попало. Когда мы все уже лежим, она приказывает не двигаться с места. При малейшем движении стоящие за окнами часовые будут стрелять. Выйти из барака нельзя. Разговаривать тоже запрещается.

Поставив метлу на место, злая эсэсовка уходит. Женщины называют ее Эльзой. Может, слышали, что кто-то ее так называл, а может, сами прозвали.

Значит, я в концентрационном лагере. Арестантская одежда, прыганье через окно и какие-то еще более страшные наказания. Эльза с метлой, голод. Как здесь страшно! А я одна... Если бы мама была здесь... Где она теперь? Может быть, именно сейчас, в эту минуту стоит в лесу у ямы? И тот же ветер, который здесь завывает под окнами, ломает в лесу ветви и пугает детей! Страшно! Невыносимо страшно!..

Под окнами кто-то ходит. Наверно, охранники. Может,

смотрят на нас. Если бы сеник так не колол, я бы уткнулась в него, чтобы свет не резал глаза. Почему не могу уснуть? Ведь уже столько ночей не спала. Может, приснится мама...

Мама... Раечка, Рувик. Еще совсем недавно мы были вместе. Рувик хотел взять свои книжки. "На свободе будешь читать..."

Свисток! Длинный, протяжный. Смотрю — в дверях опять злая Эльза. Она кричит: "Appell!" — "Проверка!". А мы не понимаем, чего она хочет, и сидим. Эльза опять хватает метлу. Бежим из барака.

Во дворе темно, холодно. Из других бараков тоже бегут люди. Они выстраиваются. Избивая, ругаясь, Эльза и нас выстраивает. Ей помогает еще один эсэсовец. Вдруг он вытягивается перед подошедшим офицером. Рапортует, сколько нас, и сопровождает офицера, который нас сам пересчитывает.

Пересчитав, офицер идет к другим баракам.

Оглядываемся, ищем свои вещи, но их нигде не видно. Даже не узнаем того места, куда вчера их сложили. Везде чисто подметено, посыпано желтым песочком.

Нас загнали назад в барак и снова приказали сесть на сеники, не разговаривать и не шевелиться.

Сидим.

Вдруг я нащупала в кармане папину фотографию (как она сюда попала?). Посмотрела на папу, и стало так грустно, что я разрыдалась. Его нет, мамы тоже нет, а я тут должна одна мучиться в этом страшном лагере. Я здесь никогда не привыкну. И не смогу жить.

Сидевшая рядом женщина спросила, почему плачу. Я ей показала фотографию. А она только вздохнула: "Слезы не помогут..."

В дверях снова выросли эсэсовцы. Приказали строиться. Объявили, что мы обязаны отдать все деньги, часы, кольца — словом, все, что еще имеем. За попытку спрятать, зарыть или даже выбросить — смертная казнь!

Офицер с коробкой в руках ходит между рядами. Сбор, конечно, очень жалкий.

Уходя, гитлеровцы так и не сказали, можно ли сесть. Но грозная метла стоит у дверей, словно часовой. Стоим и мы.

Холодно. В открытую дверь дует ветер. Уже столько дней я ничего не ела...

В дверях снова Эльза. Ее очень рассмешило, что мы все еще стоим. Поиздевавшись, она велела строиться по двое. Отсчитала десятерых и увела. Стоявшие ближе к дверям сообщили, что женщин ввели в находящийся на том конце площади барак.

Вскоре Эльза вернулась, отсчитала еще десятерых и опять

увела. А первые не вышли... Неужели там крематорий? Значит, нас сюда привезли специально для того, чтобы уничтожить без следа.

Несколько женщин, стоявших ближе к дверям, убежали в конец строя. Разве это поможет?

Я — в седьмом десятке. Передние ряды тают, их все меньше. Скоро будет и моя очередь...

Уже ведут...

Эльза открывает дверь страшного барака. Никакого запаха. Может, этот газ без запаха? Темноватые сени. У стен набросано много одежды. Рядом стоят надзирательницы. Нам тоже велют раздеться. Одежду держать в руках и по двое подходить к этим надзирательницам.

Руки трясутся, трудно раздеться. А что делать с записками? Сую под мышки и прижимаю к себе. Подхожу. Эсэсовка проверяет мою одежду. Забирает шерстяное платье, которое мама велела надеть на летнее. Прошу оставить теплое платье, а взять летнее. Но получаю пощечину и умолкаю. Теперь эсэсовка проверяет рукава и карманы — не спрятала ли я чего-нибудь. Находит папину фотографию. Протягиваю руку, чтобы надзирательница мне вернула, но она разрывает фотографию на мелкие куски и бросает на пол. На одном обрывке белеют волосы, с другого смотрит глаз. Отворачиваюсь...

Нам приказывают быстро надеть оставленную нам одежду и выйти через заднюю дверь. Оказывается, там стоят все ранее уведенные. А те в бараках еще терзаются, думая, что ведут в крематорий.

Пока всех обыскали, пришло время злосчастного «апелля». Почему они нас так часто считают? Неужели отсюда возможно убежать?

Наконец впускают в барак. К большущей нашей радости и удивлению, там стоит котел супа и стопка мисочек. Велют построиться в один ряд. На ходу надо взять мисочку, в которую Эльза нальет суп. Его надо быстро выхлебать, а миску поставить на место. В те же, даже несполоснутые, наливают суп следующим. Ложек вообще нет.

Чем ближе к котлу, тем вкуснее пахнет идущий оттуда пар.

Дождалась и я своей очереди. Увы, суп удивительно жидкий. Просто черноватая горячая водичка, в которой величественно плавают и никак не хотят попасть в рот шесть крупинок. Но все равно очень вкусно. Главное — горячо. Только жаль, что еда так безжалостно убывает. Уже ничего не остается. А есть так хочется, даже больше чем до этого супа.

Несу миску на место. Смотрю — гитлеровец подзывает

пальцем. Неужели меня? Да, кажется, меня. Несмело подхожу и жду, что он скажет. А он ударяет меня по щеке, по другой, снова по той же. Бьет кулаками. Норовит по голове. Пытаюсь закрыться мисочкой, но он вырывает ее из моих рук и швыряет в угол. И снова бьет, колотит. Не удержавшись на ногах, падаю. Хочу встать, но не могу — он пинает ногами. Как ни отворачиваюсь — все перед глазами блеск его сапог. Попал в рот!.. Еле перевожу дух. Губы сразу одеревенели, язык стал большим и тяжелым. А гитлеровец бьет, лягает, но теперь уже, кажется, не так больно. Только на пол капает кровь. Наверно, моя...

Наконец гитлеровцы ушли. Женщины подняли меня и помогли добраться до сенника. Они советуют закинуть голову, чтобы из носа перестала идти кровь. Они так добры, заботливы, что хочется плакать. Одна вздыхает: что он со мной, невинным ребенком, сделал! Другая проклинает его, а какая-то все старается угадать, за что он меня так избил... Может, неся на место мисочку, я слишком близко подошла к очереди, и он подумал, что хочу вторично получить суп?

Почему они так громко разговаривают? Ведь мне больно, все невыносимо болит! Хоть бы погасили свет! Не рассечена ли бровь? Она тоже болит. А передние зубы он выбил...

Еле дождалась утра.

Еще до рассвета выгнали во двор для проверки*. (*В концентрационных лагерях проверяли два раза в день — рано утром и вечером, когда все бригады возвращались с работы.) Я едва стою — голова гудит, губы и глаза опухли. Хоть бы один глоточек воды! Не дают... Велят идти обратно в барак.

Около полудня снова велели построиться. Отобрали шестьсот женщин, затем еще четыреста. Отобранных выстроили отдельно, а остальных погнали назад в барак.

Я — во второй группе.

Из первой группы отсчитали пятьдесят и повели в крайний барак. Кто-то из наших прочел надпись: «Entlausung» — «Баня»... Так они называют газовые камеры крематория...

Сколько пришлось пережить, и все-таки конец...

Надзирательница вернулась и отвела еще пятьдесят.

И так каждые полчаса по пятьдесят... А первые не возвращаются...

Уже никого не осталось. Площадка пуста.

Теперь пришла очередь нашей группы. Скоро поведут и меня.

Неожиданно мы увидели всю первую группу. Они живы! Значит, и мы будем жить!

Женщины той группы влезают на грузовики. Машут нам. Стало очень, очень спокойно.

Нас вводят в предбанник. Здесь горы одежды. При себе можно оставить только обувь и, если кто имеет, мыло и расческу. Все это надо держать в руках. Сумочки или мешочки надо оставить. Несколько листков моего дневника удалось сунуть в носки ботинок и под стельки. Женщины тоже быстро спрятали по несколько листочков.

Голых нас гонят в другую комнату. Под потолком — несколько дырявых трубочек — наверно, душ. У дверей гитлеровец в белом халате проверяет, не спрятали ли мы чего-нибудь в ботинках или в руках. Я переворачиваю ботинки, показывая, что в них ничего нет. Теперь становлюсь в очередь к врачу. «Врач» проверяет через увеличительное стекло чистоту головы и велит раскрыть рот. Засовывает за щеку палец — не спрятано ли там что-нибудь.

После него попадаем к парикмахеру. Ножницы большие, а он, наверно, никакой не парикмахер. Чем красивее волосы, тем уродливее он их кромсает. Отрезанные косы и локоны сует в мешок.

Наконец из трубок пустили тепловатую водичку. Она покапала несколько минут и перестала. Мы только успели стать мокрыми, и это еще хуже, потому что нечем вытереться.

Мокрых нас выгнали в еще более холодную пристройку. Дверь на улицу открыта, и сквозь щели в стенах тоже пронзительно дует злой ветер.

Вдоль стен лежат горки одежды. Возле каждой стоит надзирательница. Мы должны пройти мимо них. От каждой получаем по одной вещи — рубашку, штанишки, платье, пальто и платок. Дают подряд, невзирая на рост и полноту. Когда одна девушка попросила обменять платье, потому что оно ей мало, надзирательница стегнула просительницу тем же платьем по голове, швырнула обратно и еще поиздевалась: "Обтеши бока!"

Мне досталось вытянутое, не очень чистое, рваное белье и... бальное платье из черного шелка, с большим декольте и искусственным красным цветком. В пальтишко я еле вошла — оно детское. Чулок совсем не дали.

У дверей Эльза проверяет, не украли ли мы вторую пару белья или еще один платок.

Во дворе стоят другие наши женщины, но я ни одной не могу узнать. Когда человека мало знаешь, на первых порах отличаешь его по одежде, а теперь эти необычные «наряды» всех изменили.

Получаем по полотенцу. Смотрю — женщины наматывают их на шею. Следую и я их примеру.

Подходит незнакомая девушка и просит обменяться пальто, потому что она получила слишком большое. Я очень рада.

Наконец могу свободно дышать, не боясь, что лопнут швы. Теперь вся беда — платье. Оно такое узкое, что я едва могу сделать шаг. Но женщины меня утешают — хоть не так холодно ногам. Зато спина голая.

Наша одежда меченая — на груди и спине масляной краской намазаны большие круги или кресты.

Когда все «выкупались», нас загнали на грузовики. На каждом — по два охранника. Повезли.

Стемнело. Мы выехали из лесу и повернули на шоссе.

На этот раз путь был недолгий. Мы въехали в какой-то большой двор. Он окружен высокой каменной стеной, над нею — несколько рядов колючей проволоки и лампы. Бараков нет. Есть только один большущий дом. В конце двора — навес с болтающимися по углам лампами. Оттуда доносятся очень приятные запахи. Неужели это кухня и нам дадут суп? Нас выстраивает немец в штатском. Темный полувоенный костюм и шапочка, очень похожая на арестантскую. Сосчитал нас и велел не трогаться с места, а сам ушел. Боязливо оглядываясь, к нам приблизились несколько мужчин. От них мы узнали, что лагерь называется Штрасденгоф и находится в предместье Риги Югле. Лагерь новый. Пока что здесь только сто шестьдесят мужчин из Рижского гетто. Женщин еще нет, мы первые. Будем жить в этом большом доме. Это бывшая фабрика. Мужской блок на первом этаже, наш будет на четвертом. Где нам придется работать — они не знают. Сами они работают на стройке. Работа очень тяжелая, тем более что работают голодные. Считавший нас немец, Ганс, — старший лагеря. Он тоже заключенный, уже восемь лет сидит в разных лагерях. За что — неизвестно. У него есть помощник — маленький Ганс. Комендант лагеря — эсэсовец, унтершарфюрер, ужасный садист.

Внезапно мужчины разбежались — заметили приближающегося унтершарфюрера. Тот нас еще раз сосчитал и ушел. Вскоре Ганс велел принести одеяла и стал их раздавать. Мне опять не повезло: вместо одеяла я получила большой деревенский платок. Разве он будет греть?

Потом «угостили» холодным супом и погнали на четвертый этаж. Здесь наш блок. Он очень похож на казармы. Из досок сбиты трехэтажные нары. Их пять отделений. На каждом этаже одного отделения должны спать тридцать шесть женщин — восемнадцать с одной стороны и восемнадцать — с другой. На нарах набросаны мешки для сенников и мешочки поменьше для подушек.

Ганс велел каждой занять место. Одно отделение должно остаться пустым — сюда привезут еще женщин. Сенники набьем завтра после работы. Сейчас мы должны ложиться. Утром,

услышав сигнал, мгновенно встать и бежать во двор умыться.

Соседка посоветовала вытянуть из сеника несколько веревочек, сплести их и подпоясать платье. Иначе не смогу работать. Умная женщина!

— Встать! — Это кричит Ганс.

Почему? Ведь мы только что легли. И на дворе совершенно темно.

Ганс очень зол. Может, уже на самом деле утро? Хватаем полотенца и бросаемся по лестнице вниз. Ганса это почему-то бесит. Кричит, что мы проспали, поэтому должны немывыми бежать на проверку.

Мужчины уже стоят в строю, а мы еще суетимся. Наконец Ганс крикнул: "Stillstand!" — "Смирно!" — и поспешил с рапортом к унтершарфюреру. Тот сосчитал нас и ушел.

Теперь Ганс разорался. В лагере должен быть образцовый порядок и дисциплина. Кто нарушит — будет строго наказан. Он больше не будет бегать будить нас, мы сами должны следить за сигналом — ударами в железяку. Услышав первый сигнал, мы должны в одно мгновение вскочить, застелить нары и бежать мыться (пока к протекающему мимо лагеря ручейку). После второго сигнала надо моментально выстроиться для проверки.

Мыться он нас все же повел. Темно, дует пронизывающий ветер, льет дождь, от холодной воды коченеют руки, но мыться надо, иначе пропадем.

Начало светать. Нас снова выстроили. Пришел унтершарфюрер со своими помощниками и конвоирами. Нас разделили на группы и повели.

Первая группа ушла прямо, а мы вскоре повернули направо. Пришли на стройку. Здесь уже работали мужчины из нашего лагеря, которых увели на работу сразу после проверки.

Мне велели носить камни. Мужчины мостят дорогу между строящимися бараками. Другие женщины привозят камни из оврага в вагонетках, а мы должны подносить их каменщикам. Конвоиры и надзиратели ни на минуту не спускают с нас глаз. Вагонетки должны быть полные, толкать их надо бегом и только вчетвером; разносить камни мы должны тоже бегом; мужчины обязаны быстро их укладывать. Все нужно делать быстро и хорошо, иначе нас расстреляют.

Камни ужасно тяжелые. Нести один камень вдвоем не разрешается. Катать тоже нельзя. Разговаривать во время работы запрещается. По своим нуждам можно отпроситься только один раз в день, притом надо ждать, пока соберется несколько человек. По одной конвоир не водит.

Как нарочно, не перестает лить дождь.

Пальцы я разодрала до крови. Они посинели, опухли, страшно смотреть.

Наконец раздался свисток на обед. Нас быстро выстроили и повели в лагерь. Стоявшие первыми сразу получали суп, а мы должны были ждать, пока они его выпьют и освободят мисочки. Мы их торопили: боялись, что не успеем.

Так и вышло. Я только отпила несколько глотков, а конвоиры уже погнали строиться. Выбили у меня из рук мисочку, суп вылился, а я, еще более голодная, должна была стать в строй.

Опять таскаю камни. Теперь они кажутся еще более тяжелыми. И дождь более надоедлив. Один камень выскользнул из рук — прямо на ногу.

Я еле дождалась вечера. Вернувшись в лагерь, мы получили по кусочку хлеба и мутной водички — «кофе». Я все это проглотила тут же, во дворе, — не было терпения ждать, пока поднимусь на четвертый этаж.

Я уже наловчилась носить камни, так теперь велели их дробить. Я, конечно, не умею. Стукну молотком — а камень целехонек. Ударю сильнее — но отскакивает только осколочек, и тот — прямо в лицо. Оно уже окровавлено, болит, я боюсь поранить глаза. А конвоир кричит, торопит. Один мужчина предложил научить меня, но конвоир не разрешил: я должна сама научиться. Закрываю глаза, плачу от боли и обиды и стучу...

Я всех прошу — кто найдет кусок карандаша — одолжить мне. Надо срочно восстановить утерянные геттовские записи. Как хорошо, что мама велела заучить написанное наизусть. Но записей было много, боюсь, что могу забыть. Целый день, дробя камни, вспоминаю, повторяю. Но перестать нельзя — забуду, тем более что и здешнюю жизнь пока «описываю» в уме.

Есть карандаш! Кто-то из мужчин «переслал» мне (бросил, когда конвоир не видел). Бумага — не проблема. Здесь валяются пустые мешки из-под цемента, которыми мы обматываем ноги (чулок еще не дали). И ногам тепло, и можно таким образом без риска внести бумагу в лагерь.

Все еще дроблю камни. Лицо немного зажило — его уже не так часто дерут осколки: я научилась. Но работать все равно очень трудно — холодно, мокро. Мы не видим ни одного человека с воли; ничего не знаем о фронте, а по настроению гитлеровцев угадать трудно.

Я очень соскучилась по маме. Неужели ее действительно больше нет? Неужели детей тоже убили? Одна женщина мне рассказала, что фашисты проделывают ужасные опыты — сдирают кожу, отрезают здоровую ногу и пришивают собачью. А из детей высасывают кровь. Тянут из вен, пока ребенок не падает мертвым.

Невероятно, ужасно, не может быть! Неужели и Рувика так замучили! Никак не могу избавиться от этого видения, все мерещится, что Рувик сидит в каком-то кабинете с вколотой в ручку большущей иглой и бледнеет, слабеет, гаснет...

Когда становится невыносимо тяжело, стараюсь вспоминать прошлое... В такую погоду я любила сидеть дома. Если у папы никого не было, я забиралась к нему в кабинет, сворачивалась в кресле и читала книгу. Как было хорошо!..

Слышу сердитый окрик конвоира. Исчезает кабинет, тепло. Остается только лагерь, камни, дождь.

Я снова на другой работе — толкаю вагонетки. Мы возим камни и песок. В гору надо толкать полные вагонетки, а под гору бежать с пустыми.

Толкать очень трудно. Но остановиться нельзя — вагонетка покатится под гору и убьет не только нас, но и тех, кто тащится сзади. С трудом взобравшись на гору, мы должны разгрузить вагонетку, переставить на другие рельсы и, придерживая, бежать под гору. Это еще труднее — пустая вагонетка мчится очень быстро, мы еле поспеваем за нею, а выпустить нельзя, она может кого-нибудь убить. Одного так придавило. Он был профессором Рижского университета. Был...

Уже ноябрь. С каждым днем становится все холодней. Пальто и ботинки насквозь мокрые. Чулок все еще не дают. Не помогают и бумажные обмотки. Но самое плохое — по утрам надевать мокрую одежду; блок не отапливается, одежда за ночь не высыхает...

Работающим на фабрике намного лучше: там сухо и тепло. Кроме того, их обучают ткачихи-латышки, которые иногда приносят им хлеб.

Позавчера мне тоже улыбнулось счастье: я нашла иголку! Настоящую, целую иголку! Хотя от конвоира получила пинок за то, что в строю нагнулась, но ничего, за иголку стоит. По крайней мере, приведу в порядок свое платье. Соседка научит. Между прочим, мы тезки, она тоже Маша. Она намного старше меня, очень умная и практичная, но суховатая — не признает плохих настроений или хандры. Терпеть не может, когда человек жалуется.

Я с ней не только сплю рядом, но и сижу за одним столом. Эти столы стоят вдоль стен, каждый — на двадцать женщин. Хлеб для всех получает старшая стола. Горбушки она дает по очереди (их хотят получить все, потому что они твердые и можно дольше жевать), а другие порции — по жребии.

Наконец мое платье на что-то похоже. Правда, оно снизу не очень ровное (ножниц нет, пришлось обрывать руками) и

подшито белыми нитками, зато спина и даже шея закрыты.

Но у меня новая беда: совсем порвались ботинки, почти спадают с ног. Верх полопался, подошва отстала, пальцы торчат. Боюсь, что могу их просто потерять. Они еще в гетто еле держались, а теперь, вечно мокрые от дождя и изодранные камнями, они совсем развалились.

Маша работает на фабрике. Она мне приносит нитки, из которых плету веревочки и подвязываю подметки. Но нитки быстро намокают, рвутся, и ботинки снова раскрывают пасть. Что будет зимой? Не могу же я босиком ходить по снегу.

Маша советует попросить у Ганса. В камере одежды, наверно, есть и ботинки. Но я не осмеливаюсь, лучше еще потерплю.

Воскресенье. Мы работали только до трех часов и вернулись в лагерь еще засветло. Лагерь выглядит непривычно, совсем не так, как в темноте. Странно чернеет при дневном свете надпись: "Вы живете не для того, чтобы работать, а работаете для того, чтобы жить". И забор кажется намного выше, страшнее.

Но это неважно. Куда важнее новая выдумка Ганса. Вызвав к себе старшую блока и еще несколько девушек, он заявил, что каждое воскресенье, вечером, должен состояться концерт, иначе они станут его "speziell Freunde". А смысл этого выражения мы уже успели узнать. К своим "специальным друзьям" он намного придирчивее, чаще их наказывает, посылает на более тяжелые работы и оставляет без хлеба.

Маша велела мне написать стихотворение. О чем? В школе я сочиняла о весне, природе, луне и звездах. Однажды учитель принес пластинку — Шестую симфонию Бетховена. Прослушав ее на уроке, я описала свои впечатления в стихах. Чуть не целую тетрадь. Даже учителю понравилось, взял на память. А здесь о чем писать?

Маша велит написать о нас. Стихотворение? Не представляю себе. Одно дело записывать факты, события, а другое — стихи. Какая может быть поэзия при такой жизни?

Вчера после проверки Ганс спросил, подготовлена ли уже программа концерта. Старшая блока ответила солдатским «Jawohl» — "Так точно!.." (Если бы сказала правду, он бы ее избил.)

У меня даже ноги подкосились: завтра должен состояться концерт, а я не написала ни одной строчки. Целый день, толкая вагонетки, я старалась что-нибудь «выдавить» из себя. Но чем больше старалась, тем меньше получалось.

Вечером я призналась Маше, что ничего не написала. Как я ни старалась, в мыслях только одно: что мне грустно, хочу к маме, что невыносимо тяжело, холодно и очень хочется есть.

Маше мои объяснения не понравились. Зло ответила, что как раз об этом и надо было написать.

Нет, она меня не понимает. Это не мама, которая выслушала бы, посочувствовала и посоветовала, о чем написать. Может, даже об этом жиденьком супе, о перевязанных нитками ботинках или посиневших от холода ногах...

В голове мелькнули какие-то мысли. Я побежала в туалет, где меньше людей, и там, в самом уголочке, на подоконнике, стала писать. Но все-таки не в стихах.

Сегодня во втором, пустом, блоке сдвинули несколько столов. Это, мол, сцена. В «зале» с одной стороны стоят мужчины, с другой — женщины. Концерт уже начался, а я все правлю и черкаю свое «творчество». Теперь Маша немного ласковее. Похвалила, у кого-то одолжила для меня целые ботинки и велела не волноваться.

Когда объявили мое выступление, я влезла на стол. Подумала, что надо сделать реверанс, как в школе, выйдя отвечать урок. Присела, но, кажется, очень неуклюже, и никто, наверно, не понял, что это должно было означать.

Не своим, осипшим голосом я начала читать "устную газету" — "Женский экспресс". Я читала, будто разные телеграфные агентства сообщают, что нам выслан транспорт шерстяных чулок. Ботинок пока еще нет, потому что они сюда шагают пешком. Картошка для нашего супа еще не выкопана: есть более важные дела. И так далее.

Сначала у меня дрожали ноги, но вскоре, когда я почувствовала, что люди одобрительно вздыхают и даже улыбаются, я успокоилась. Слезла я со стола уже совсем спокойная.

После меня группа женщин пела "Вечерний звон". Одна девушка из Риги сыграла на расческе «полечку», а другая спела очень грустный романс.

После концерта нам, участникам, дали по полпорции холодного супа. Маша велела воспользоваться хорошим настроением Ганса и попросить ботинки. Но я все равно не могла решиться. Она рассердилась, сказала, что с таким характером я здесь скоро пропаду, и пошла сама. Ганс ей заявил, что здесь концентрационный лагерь, поэтому носят не ботинки, а деревянные башмаки. Скоро их должны привезти для мужчин, тогда, может, и я смогу получить.

Вчерашний день, наверно, никогда не забуду.

Утром, когда мы после проверки выстроились по бригадам, Ганс из нашей бригады отсчитал пятьдесят женщин (в том числе и меня) и велел присоединиться к другой бригаде, идущей на

фабрику "Юглас мануфактура".

Наконец кончились мои страдания! Не надо будет толкать эти страшные вагонетки и мокнуть под дождем.

Шагаем по незнакомой дороге. Странно быть новичком: все незнакомо, неизвестно, что ждет. А мне к тому же еще и боязно, потому что я совершенно не представляю себе, как надо ткать.

Привели на фабрику. Те, кто работает здесь с первого дня, разошлись к своим станкам. Смело двинулись по узким проходам, не боясь ни колес, ни колесиков. А мы, новенькие, жались в углу, стараясь никому не мешать.

Шум. Все крутится, стучит, гремит. Наша бригадирша с латышом (очевидно, мастером) разводит нас по одной к станкам и велит учиться у ткачих-латышек.

Смотрю и ничего не понимаю. Колеса вертятся, какие-то палки с ремнями гонят челнок, ряды ниток поднимаются, опускаются, снова поднимаются и опять опускаются. Приползают нитки, а уползает материал.

Поглядываю на других — что они делают. Одни, как и я, только смотрят, а другим уже объясняют. Наконец и моя учительница догадалась и показала, как связывают ткацкий узелок. Когда смотрю, как связывает она, все понятно, а когда сама беру нитку в свои огрубевшие пальцы, нитка ускользает, и мне никак не удается сделать узелок.

До самого вечера моя латышка мне больше ничего не показала: я должна была учиться быстро связывать узелок. Время здесь тянулось еще медленнее, чем на стройке (на новом месте всегда так бывает), но не беда — тепло. Зато вечером, когда я вышла на улицу, показалось еще холодней. Назад в лагерь я плелась обалдевшая — в голове все гудело, стучало, гремело. Даже есть не так сильно хотелось, хотя со вчерашнего дня у меня еще ничего не было во рту. Теперь мы вообще едим два раза в день — во время обеда суп, а вечером хлеб с так называемым кофе. Мало у кого хватает силы воли разделить этот маленький кусочек хлеба пополам и оставить на утро. Все знаем, что это необходимо, и каждая из нас неоднократно пыталась оставить, но ничего не выходит. Стоит мне оставить хоть малюсенький кусочек, я ночью обязательно просыпаюсь и не засыпаю до тех пор, пока не вытащу его из-под сенника и не съем. Утешаюсь только тем, что, может, скоро уже утро, и я бы его все равно съела...

Сегодня я тоже собиралась оставить, тем более что вечером мы получили все сразу — и успевший остыть от обеда суп и хлеб. Но было так вкусно, что я даже не заметила, как съела.

В голове все еще гудело. Я еле дождалась сигнала лечь.

Проснулась я оттого, что меня сильно трясли. Еще, наверно, ночь, но в блоке горит свет, а на нарах — ни живой души. Старшая нашего стола велит мне быстро встать. За ее спиной стоит Ганс.

Я вылезаю. Что случилось? Старшая набрасывает мне на плечи пальто и ведет к столу. Все уже сидят на своих местах. Когда я приблизилась, унтершарфюрер так ударяет меня по лицу, что даже в глазах рябит. Он совсем разошелся, вздохнуть не дает. Стараюсь хотя бы удержаться на ногах, чтобы тоже не стал пинать ногами.

Наконец он сам устал и отпустил, велел поставить меня на всю ночь на колени.

Ганс свистнул, чтобы все легли, а меня вывел на лестницу и приказал стать на колени у ног постового. Тому велел следить, чтобы я не пыталась встать и чтобы никто не подал мне ботинок.

Как вытерпеть? Холодно. Колени затекли и болят. Постовой не дает даже шевельнуться, а время тянется нестерпимо медленно.

Уже еле держусь. Моментами кажется, что вот-вот свалюсь. Но постовой ударяет меня прикладом, и я снова выпрямляюсь.

Сменили постового. Значит, еще только два часа. Как далеко до утра, наверно, все-таки не выдержу. А когда сплю, кажется, будто ночь бегом пробегает.

Утром меня подняли: сама уже не могла выпрямить ног. И на проверку вели: не могла идти, падала.

Теперь узнала, за что меня наказали. Оказывается, ночью в блок влетел взбешенный Ганс и засвистел. Велел мгновенно выстроиться в проходах между нарами. Прибежал и унтершарфюрер. Оба стали лихорадочно считать построенных. Да, действительно одной не хватает. (Часовому у ворот померещилось, что с забора спрыгнул человек.) Еще раз сосчитали. Не хватает. Велели строиться по бригадам: надо установить, кто именно убежал. Но, к несчастью, как раз сегодня увеличилась фабричная бригада и бригадирша еще не всех знает. Тогда велели сесть к столам, по двадцать.

Оказалось, что не хватает меня... Старшая стола инстинктивно глянула на нары. В дальнем углу из-под платка торчала моя босая нога.

Ганс меня запомнил. Сразу же после утренней проверки крикнул: "Та, которая во время ночной проверки спала, — три шага вперед!" Я задрожала — неужели опять будет бить? И так еле стою.

Я вышла. Ганс меня осмотрел, поглумился и спросил, где работаю. Узнав, что на фабрике, велел вернуться назад на

стройку.

Кончилась теплая жизнь, длившаяся всего один день. Даже пальто не успело высохнуть. Снова мокну под дождем, снова почти босиком топчу грязь.

Привезли новых. Они из Германии. Одну из них сразу назначили старшей нашего блока, а предшественницу погнали на стройку.

Часть новеньких поместили в нашем блоке, остальных — во втором.

Привезли еще один транспорт — из Рижского гетто. Тоже через «Кайзервальд», тоже полуголых. Но у них не забрали детей. Есть даже пожилые. Их не разлучили. Как им хорошо!

Расспрашиваю, не знал ли кто моей тети-рижанки. К сожалению, пока о ней ничего не знаю. Хотя бы она нашлась!

Выпал первый снег. Наконец нам выдали чулки. Правда, они не очень похожи на настоящие чулки. Это носки, большей частью мужские, разноцветные, к которым пришиты куски старых женских чулок или даже просто тряпки. Но когда на носу декабрь, приходится радоваться и таким.

Меня снова взяли на фабрику. Говорят, что Маша уговорила бригадиршу попросить за меня Ганса. Поставили к той же латышке. Пришлось снова начать с узелка.

Теперь уже умею останавливать и пускать станок и менять нитки — когда кончается один моток, вставить в челнок другой.

Уже не так мерзну, но еще больше мучает голод.

Привезли машину деревянных башмаков. Когда их сгружали, я осмелилась подойти к Гансу. Он велел показать ботинки. Потом приказал заведующей камерой одежды выдать мне пару башмаков, а ботинки забрать. Жаль было расставаться — последняя вещь из дому, но что поделаешь, если они так порвались.

В камере одежды даже не спросили, какой мне нужен размер. Схватили из груды первую попавшуюся пару и бросили мне. Эти башмаки очень большие, но просить другие бессмысленно — стукнут за «наглость». Засуну туда бумаги, чтобы нога не скользила, и буду носить. Это «богатство» — тяжелые куски дерева, обтянутые клеенкой, — тоже записывают, что, мол, "Hdftling 5007" получила одну пару деревянных башмаков. "Заключенная 5007" — это я. Фамилий и имен здесь не существует, есть только номер. Я уже привыкла и отзываюсь. На фабрике им же отмечаю сотканный материал. (Я уже работаю самостоятельно.) На каждых пятидесяти метрах пряжи появляется синее пятно. На этом месте сотканный материал надо перерезать, с обоих концов написать свой номер и сдать. Сдавая, я, как и все,

мысленно желаю, чтобы фашисты этот материал использовали на бинты.

Вначале, только научившись самостоятельно работать, я очень старалась и почти каждый день сдавала по пятьдесят метров. Теперь меня научили саботировать — отвинтить немножко какой-нибудь винтик или надрезать ремень, и станок портится. Зову мастера, он копается, чинит, а потом вписывает в карточку, сколько часов станок стоял.

Каждый день у кого-нибудь «портится» станок, и все поразному.

Кажется, ничего другого в мире нет — только лагерь, работа, голод и холод.

Когда-то так часто бывали оттепели, а теперь, как нарочно, изо дня в день безжалостный мороз. А пальтишко летнее, платье шелковое, без рукавов. Мороз насквозь пронизывает, пока иду на работу и обратно. Колени синеют и больно горят. Не успеваем прийти в лагерь и забежать в блок — уже зовут на проверку.

Костенеем — унтершарфюрер нарочно не спешит выйти, и мы должны стоять на таком морозе, даже не шевелясь.

А если ему при пересчете вдруг померещится, что кто-то шевельнулся, он в наказание оставляет стоять на морозе до полуночи.

На этой неделе я работаю в ночной смене. Ее единственное преимущество в том, что можно избежать этого страшного наказания — стоять на морозе. Но вообще-то ночная смена гораздо труднее: под утро мучительно хочется спать, свет режет глаза, а от голода урчит в животе. Утром, когда полуживые и замерзшие мы возвращаемся в лагерь, холод не дает заснуть: в пустом блоке сквозь щели заиндепевшего окна дует ветер, несет снег. Ночью, когда в блоке спит много людей, немного теплее. А накрыться одеялом соседки Ганс не разрешает: надо «закаляться». Нарочно приходит проверять, как мы спим. Найдя кого-нибудь под двумя одеялами, выгоняет голой во двор.

Мне в последнее время все чаще и чаще кажется, что больше не выдержу — разорвется сердце. Но оно не разрывается, боль притупляется, и снова все по-старому — встаю, ложусь, иду по свистку...

Я говорила с одной рижанкой, которая знала тетю и дядю, до войны живших в Риге. К сожалению, оба уже в земле. Дядю расстреляли в первые дни, а тетя с двумя детьми была в Рижском гетто. Очень голодала, потому что не могла выходить на работу: негде было оставить детей. Так с обоими мальчиками и увели на расстрел.

Вчерашний ужас и вспомнить страшно, и забыть не могу.

Вечером, когда работающие на стройке возвращались с работы, их у входа тщательно обыскали: конвоир сообщил, что видел, как прохожий сунул кому-то хлеб. Его нашли у двух мужчин — у каждого по ломтю. Во время вечерней проверки об этом доложили унтершарфюреру.

И вот проверка окончена. Вместо команды разойтись унтершарфюрер велит обоим «преступникам» выйти вперед, встать перед строем и раздеться. Они медлят — снег, холодно. Но удары плетью заставляют подчиниться. Нам не разрешают отвернуться. Мы должны смотреть, чтобы извлечь урок на будущее.

Из кухни приносят два ведра теплой воды и выливают им на головы. Бедняги дрожат, стучат зубами, трут на себе белье, от которого идет пар, но напрасно — солдаты несут еще два ведра теплой воды. Их снова выливают несчастным на головы. Они начинают прыгать, а солдат и унтершарфюрера это только смешит.

Экзекуция повторяется каждые двадцать минут. Оба еле держатся на ногах. Они уже не похожи на людей — лысая голова старшего покрылась тоненькой коркой льда, а у младшего волосы, которые он, страдая, рвет и ерошит, торчат смерзшимися сосульками. Белье совсем заledenело, а ноги мертвенно белы. Охранники катаются со смеху. Радуются этому рождественскому «развлечению». Каждый советует, как лить воду. "В штаны!" — кричит один. "Голову окуни!" — орет другой.

Истязаемые пытаются отвернуться, отскочить, но их ловят, словно затравленных зверей, и возвращают на место. А если хоть немного воды проливается мимо, вместо вылитых «зря» нескольких капель приносят целое ведро. Несчастные только поднимают ноги, чтобы не примерзли к снегу.

Не выдержу! С ума сойду! Что они вытворяют!

Наконец гитлеровцам надоело. Велели разойтись. Гансу приказали завтра этих двух от работы не освобождать, даже если будет температура сорок градусов.

Старший сегодня умер. Упал возле вагонетки и больше не встал. Второй работал, хотя еле держался на ногах, бредил от жара. Когда конвоиры не видели, товарищи старались помочь ему как-нибудь продержаться до конца работы. Иначе ему не избежать расстрела.

Ганс придумал новый вид издевательства — "проветривание легких".

Фабрики по воскресеньям не работают, поэтому он работающих на фабриках посылает на стройку. Это было бы справедливо, если бы они подменяли строителей, а тем

разрешили бы в этот день погреться. Но как раз этого Ганс им не разрешает, а заставляет "проветривать легкие". С раннего утра они должны маршировать по лагерю и петь. Особенно Ганс любит одну, специально для нас переделанную песню: "Мы были господами мира, теперь мы вши мира".

Чем сильнее мороз, тем дольше Ганс заставляет маршировать.

Сегодня мне одна женщина сказала, чтобы я больше не писала своих шуток. Над чем я смеюсь? Над нашими бедами?..

Я пожаловалась Маше. Но она меня отчитала: не надо стараться угодить каждому, потому что завтра кто-нибудь может сказать совершенно противоположное. Надо самой думать. А писать необходимо. Если мой "Штрасденгофский гимн" поет весь лагерь, значит, большинству эта песня нравится. А это главное.

Наверно, она права.

Эсэсовцы придумали новое наказание.

Может, это даже не наказание, а просто издевка, «развлечение». Скоро весна, и держать нас на морозе уже не так интересно.

После проверки Ганс велел перестроиться, чтобы между рядами оставался метровый промежуток. Затем приказал присесть на корточки и прыгать. Сначала мы не поняли, чего он от нас хочет, но Ганс так заорал, что, даже не поняв его, мы стали прыгать.

Не удерживаюсь на ногах. Еле дышу. А Ганс носится между рядами, стегает плеткой и кричит, чтобы мы не симулировали. Только приседать нельзя, надо прыгать, прыгать, как лягушки.

Сердце колотится, задыхаюсь! Хоть бы на минуточку отдышаться. Колет бок! Везде болит, больше не могу! А Ганс не спускает глаз.

Одна девушка упала в обморок. Скоро и со мной, наверно, будет то же самое. Подойти к лежащей в обмороке Ганс не разрешает. Все должны прыгать. Упала еще одна. Она просит о помощи, показывает, что не может говорить. Кто-то в ужасе крикнул: "Она онемела!"

Наконец Ганс тоже устал. Отпустил. Лежащих без чувств не разрешил поднимать — "симулируют, сами встанут". А если на самом деле в обмороке, значит, они слабые и не могут работать, надо записать их номера. Женщины хватают несчастных и волокут подальше от Ганса. Сами не в состоянии выпрямиться, почти на четвереньках, мы тащим все еще не пришедших в сознание своих подруг. Но только до лестницы. По лестнице не можем подняться. Сидим на каменном полу и ртом хватаем воздух. Некоторые пытаются ползти, но, с трудом поднявшись на

несколько ступенек, остаются сидеть. Я все еще задыхаюсь, не могу начать нормально дышать. Прошу одну женщину, чтобы помогла мне опереться о перила — может, придерживаясь, немного поднимусь. Но что это? Еле выдавливаю слово. Чем больше стараюсь, тем труднее что-нибудь сказать.

Больше не решаюсь заговорить.

Вползаю наверх. Я бы легла, но до сигнала нельзя. Валюсь на скамью у стола, кладу голову на руки и сижу. Но так еще труднее дышать, приходится выпрямиться. Вижу, как в дверь тащатся такие же полуживые, еле дышащие существа.

Вдруг в дверях вырос Ганс. Осмотрел нас, покрутился и как ни в чем не бывало спросил, почему здесь так тихо. Ведь сегодня воскресенье, праздник — надо петь.

Молчим.

"Песню! — заорал он со злостью. — Или будете прыгать!"

Одна затянула дрожащим голосом, другая запищала. Их несмело поддержало еще несколько хрипящих голосов. Пытаюсь и я.

Рот раскрывается, а в него текут соленые слезы...

Уже знаем, за что нас позавчера заставили прыгать — кто-то сообщает гитлеровцам о наших "бунтарских разговорах".

Кто это мог сделать? Кто старается им угодить? Все подозревают "тот угол" — привезенных из Германии. Но как узнать правду? Как найти предательницу?

Девушки будут проверять всех вновь прибывших. В присутствии одной скажут что-нибудь об унтершарфюрере или Гансе. Если нас за это не накажут, значит, та не доносица. Перейдут к другой. Так проверяют всех, пока не обнаружат настоящей предательницы.

Меня в проверяющие не берут: могу попасться, а я уже и так больше других пострадала — и зубы выбили, и на колени ставили на всю ночь. А после прыганья только сейчас начинаю нормально говорить.

Но я все равно об этом написала песню. Назвала «Спорт». Пусть не думают, что так ужасно переживаем их издевки. Мы просто подтруниваем над этим.

Сегодня утром во время проверки Ганс заявил, что в нашем блоке пропала пара ботинок. Одна женщина пришла просить у него башмаки, потому что босиком не может выйти на работу. Кто взял эти ботинки?

Тишина...

Ганс разозлился. Если до вечера ботинки не найдутся, он сумеет нас наказать. В лагере не должно быть краж!

При выходе на работу всех тщательно обыскали. Ботинок,

конечно, не нашли.

Весь день эта кража не давала покоя. Кто мог взять? И с какой целью? Ведь ни самому надеть, ни спрятать (единственное место — сенник, и тот гитлеровцы часто проверяют), ни вынести, тем более что за такое старье и рванье ничего не получишь. Женщины уверяют, что эта кража — или провокация, или просто та женщина сама куда-то засунула свои ботинки, чтобы получить башмаки.

Перед вечерней поверкой я предложила снять чулки: наверно, опять придется прыгать, а так называемые чулки еле держатся. Но никто не спешил последовать моему примеру — холодно.

После проверки Ганс пригрозил, что теперь он нам покажет, что значит воровать. Велел перестроиться для прыганья.

"Разве я не говорила?" — шепнула я Маше и усмехнулась. Ганс это заметил, велел подойти к нему.

Я обмерла. Он вытащил меня из строя и начал колотить — опять по голове. Потемнело в глазах. Словно издалека до меня дошло, что он приказывает «solieren» — прыгать «соло» перед всем строем.

Прыгаем — я против них, они — против меня. А Ганс, как обычно, бегаёт между рядами с пеной у рта и все оглядывается на меня: "Умеешь смеяться, умей и прыгать".

Я едва дышу. Силы совсем иссякли. Даже остановившись на секунду, не могу вдохнуть воздух. Кажется, что уже не прыгаю, а только ноги, онемевшие и болящие, механически приподнимают меня, словно пружины, и снова опускают, приподнимают от земли и опускают...

Почти не помню, когда нас отпустили и как Маша тащила меня, еле живую, по лестнице. Потом Ганс, кажется, велел петь, но все молчали. Уходя, он пригрозил, что завтра снова будем прыгать...

Маша написала стихотворение о лагере. Мне, конечно, нечего равняться. Я умею только посмеяться над своими бедами. А ее стихотворение — серьезное; в нем глубокая боль, но не безнадежность. В конце прямо так и сказано, что лед начнет лопаться, рухнут стены, и тогда люди подадут друг другу свободные от оков руки!

Вчера была акция... Начинается и здесь...

Во время вечерней проверки во двор ввалилось много охранников. Сначала мы на них не обратили внимания, но, увидев, что одни нас окружают, а другие вошли в блоки, испугались.

Что будет?

Проверка идет как всегда. Ганс считает; из котельной и кухни

прибегают истопники и повара (им можно прибежать в последний момент), приходит унтершарфюрер. Все как обычно.

И все-таки что-то происходит...

Что охранники делают в бараках? Обыск? А в моем сеннике дневник. Маша давно говорила, что надо бы закопать. Зачем я медлила? Теперь найдут...

Почему нас окружили? Чтобы мы не бросились туда, если что-нибудь спрятано в сенниках? Может быть. И все же это не только обыск: слишком большая охрана.

Унтершарфюрер уже пересчитал нас, а команды разойтись не дает. Отпускает только поваров и истопников.

Из второго блока солдаты выводят двух пожилых рижанок. Они больны и на проверку не выходили. (Ганс в рапорте сказал, что есть две больные.) Их ведут к черным закрытым машинам. Мы и не заметили, когда они въехали. Другие солдаты отнимают у стоящих в конце строя женщин их детей. В первое мгновение никто ничего не понял, но вдруг поднялся страшный крик. Матери бросаются к машинам, не хотят отдавать детей, плачут, кричат, проклинают. Одна умоляет охранника, чтобы он и ей разрешил ехать вместе с сыном. Другая падает на землю и хватается солдата за ногу, чтобы он не смог унести ее ребенка. Но солдат пинает ее сапогом в лицо и уходит с надрывающимся от крика ребенком на руках. Молодая женщина старается силой вырвать своего ребенка, кусает солдата, но двое других хватают ее, заламывают руки и оттаскивают в сторону. Она беспомощно бьется в их руках, трясет головой, кричит, но вырваться не может.

Одна мать сама несет доченьку к машине. Гитлеровец хватается за малютку, хочет бросить в машину, но девочка обнимает его за шею и прижимается. Мать хватается за голову и валится как подкошенная. Гитлеровец переступает через нее и вталкивает девочку в машину.

Ведут и пожилых. Матери бросаются к ним, просят присматривать за детьми, выкрикивают их имена, показывают, в какой они машине.

Зловеще сверкая черными боками, машины выезжают. Матери остаются здесь. Они плачут, рыдают, кричат, рвут на себе волосы. Упавшую в обморок все еще не можем привести в чувство. Она лежит, руками конвульсивно сжимая комки земли с пробивающимися травинками.

Ведь весна...

Девушки подсчитали, что в субботу, во время детской акции, увезли шестьдесят жертв — сорок одного ребенка и девятнадцать пожилых женщин и мужчин.

Мы снова прыгали. Маша меня все время шепотом учила

дышать — вдохнуть, задержать воздух, выдохнуть и прыгать ритмично, подпрыгивая при выдохе. А когда унтершарфюрер отворачивается, только поднимать плечи, имитируя прыжки.

Когда стемнело, унтершарфюрер нас отпустил: в темноте уже не тот эффект. Приказал нашему блоку хлеба не давать. А нам, уходя, пригрозил: если еще хоть один раз будем неуважительно говорить о немецкой власти — расстреляет без предупреждения не только говорившую, но и тех, кто слушал и не заставил ее замолчать.

Так вот за что мы прыгали!

Оказывается, на нас донесла Роза. Девушки предлагают ее поколотить, а я говорю, что надо придумать другое наказание, но какое — не знаю. Может быть, игнорировать, не разговаривать. Девушки этого не принимают: слишком интеллигентно. Только намять бока и ничего другого!

Я должна буду сторожить у двери: если постовой приблизится — подать знак.

Ночью, как было условлено, меня разбудили и босую (башмаки могут выдать) повели на «пост». Другие залезли на верхние нары, над тем местом, где внизу спит Роза. Одна девушка измененным голосом разбудила ее — подруга в обмороке (Роза до войны была медицинской сестрой). Как только Роза высунулась с нар, сверху начали падать одеяла. Девушки прыгнули, схватили ее, барахтающуюся под одеялами, и стали бить. Били изо всех сил, но так тихо, что даже я почти ничего не слышала, хотя знала, что там делается.

Легла, но долго не могла уснуть, — что будет, если она пожалуется? Правда, она не знает кто, но это не имеет значения, накажут всех. Может, все-таки не надо было бить? Для первого раза хватило бы угрозы.

Сегодня Роза ходит угрюмая, с опухшими глазами, ни на кого не смотрит. Но жаловаться, очевидно, боится.

Несколько дней тому назад Маша мне сказала, что женщины нашего стола решили отпраздновать Первое мая. Получив хлеб, мы его не проглотим, как обычно, сразу, а сядем все вместе за стол. Кто-то обещал каким-то образом достать газету и рассказать, что там пишут. Конечно, из фашистской газеты не много правды почерпнешь, но хоть услышим, какие города они опять оставили по "стратегическим соображениям" или "выравнивая фронт".

И вот вчера мы сдвинули три стола (желающих оказалось много) и сели. Лиза рассказывает о фронте. Прикидываем, когда Красная Армия может быть здесь. Хлеб откусываю постепенно, маленькими кусочками. От разговоров о свободе становится так

хорошо, как еще никогда не было.

Вдруг я обмерла — в дверях унтершарфюрер! А Лиза почему-то вместо положенного "Achtung!"* затянула "Долгие лета!". Делает вид, что не замечает! Маша тоже поет и толкает меня в бок, чтобы я поддержала. А я от страха потеряла голос. Хриплю: "Счастливых лет!" — и еле соображаю, что Маша поет по-польски: "Сто лят". Наконец, сделав вид, что только теперь заметила унтершарфюрера, Лиза кричит: "Achtung!" Вскликаем, вытягиваемся и ждем. Что теперь будет? (*"Внимание" (Так мы должны были встречать каждого начальника.)

Унтершарфюрер зло оглядывает нас и спрашивает, что здесь за собрание. Лиза не моргнув отвечает, что мы отмечаем день рождения старшей по столу. Унтершарфюрер с подозрением оглядывает нас и выходит.

А если бы Лиза не догадалась затянуть песню? Маша смеется над моей наивностью: ведь так было решено заранее.

В воскресенье мы, «фабричные», как всегда, работали на стройке. Как только конвоир отворачивался, я поднимала голову и смотрела на цветущую по ту сторону дороги сирень. Казалось, что ветер нарочно клонит ветки в нашу сторону, чтобы приблизить к нам их аромат.

Когда мы вернулись в лагерь, оставшиеся там еще "проветривали легкие" — маршировали с песней. Обычная воскресная картина. Но вдруг Ганс объявил, что после обеда никого не выпустят из блоков: приезжает врачебная комиссия проверять здоровье.

Это страшно. Мы очень худые, похожи на скелеты, и, что хуже всего, от плохой пищи и нервных потрясений на теле, особенно на руках и ногах, нарывы. Они гноятся, не заживают. Единственное «лечение» — по утрам и вечерам прикладываем намоченные в холодной воде тряпочки. Мы уже так привыкли к этим своим гнойникам, словно всю жизнь они у нас были. Но если гитлеровцы увидят...

Что делать? Куда деваться? Может, не показываться, все время сидеть в туалете? А если и там проверят? Прошу Машу посоветовать. Но она отвечает, что советовать в таких случаях нельзя, потому, что каждый человек только сам может быть хозяином своей жизни. Нашла время философствовать! А как она сама поступит? Она пойдет, хотя ноги тоже в нарывах. Но есть женщины, у которых все тело в гнойниках, им обязательно надо спрятаться.

За меня «решил» унтершарфюрер: он приказал солдатам обыскать все уголки, и пока не будет окончена проверка, никого не впускать в туалет.

Все.

Нам приказано раздеться догола и медленно, по одной, проходить мимо комиссии.

Первые уже прошли. Самых исхудалых, в сплошных нарывах, они останавливают, спрашивают номер и записывают в свои книжки.

Скоро будет моя очередь. Стою вместе со всеми, дрожу: холодно и страшно. Кожа посинела, стала «гусиной». Заболел затылок. Все время стою, неудобно задрав голову, чтобы волосы закрывали нарывы на шее. Болит рука, крепко прижатая к боку: она прячет раны под мышкой. Только бы не велели поднять руку!..

Очередь движется очень медленно...

Уже приближаюсь и я. Как совладать с ногами, чтобы они не подгибались?

Подзывают! Нет, не меня, следующую.

Я прохожу. Незаметно оглядываюсь. Шедшая за мной женщина стоит перед комиссией. Гитлеровец велит ей повернуться. Осматривает. Что-то говорит второму эсэсовцу. Женщина смотрит на них умоляющим взглядом. Но это не помогает. У нее спрашивают номер. Записывают...

Шеренга снова тронулась.

Проверив наш блок, комиссия спустилась во второй. К нам пришел Ганс с конвоирами, вызвал всех записанных и увел. А во дворе ждали черные машины...

Выходя, Ганс велел готовиться к концерту. Он должен начаться ровно через час. Иначе будем прыгать!

Мы решили: лучше прыгать, но не петь!

Со стройки убежали три женщины. Каким образом и куда — неизвестно. Им, наверно, кто-то помог, потому что одни, когда кругом такая охрана, а одежда меченая, они бы это не смогли сделать. Самое удивительное, что никто даже не заметил, когда они исчезли. Спихватились, когда надо было идти на обед. Конвоиры свистели, кричали, искали, но напрасно. А ведь за это унтершарфюрер может послать их на фронт!

Почему я не знала, что они собираются бежать? Я бы попросила, чтобы они и меня взяли с собой. Я бы им не была в тягость — ничего не просила бы, не жаловалась, даже обошлась бы без еды.

Теперь беглянки уже на воле. Пока, наверно, отсиживаются в каком-нибудь подвале. Они дождутся Красной Армии. Но Маша считает, что они ни в каком подвале не сидят: не было у них возможности с кем-нибудь договориться и никто им не помог. Просто подвернулся удобный момент, они удрали и будут

пытаться по ночам идти по направлению к Вильнюсу. Но дороги теперь усиленно охраняются, и их все равно поймают.

Неужели она права?..

После вечерней проверки нас не отпустили. Унтершарфюрер вызвал к себе Ганса и «провинившихся» конвоиров.

Примерно через час Ганс вернулся и стал придирчиво проверять наше равнение. Должен быть образцовый порядок, потому что сейчас приедет шеф всех концентрационных лагерей Латвии.

Что будет? Ясно, что не только Ганс, но и сам унтершарфюрер очень волнуется.

Наконец этот шеф приехал. В сопровождении унтершарфюрера и своей свиты он величественно прошагал мимо нас, пересчитал и хмуро выслушал объяснения унтершарфюрера. Ганс с маленьким Гансиком даже не осмелились приблизиться. Они тоже стояли в строю. Дальше, отдельно от нас, но все же в строю.

Шеф подошел к нам. Плетью ткнул одну девушку и велел ей выйти вперед. Ткнул другую, третью... Так отобрал шестерых. Выстроил их против нас. Заявил, что забирает их в качестве заложниц. Если в течение двадцати четырех часов не найдут сбежавших — расстреляют этих! Если даже найдут — все равно расстреляют. Лишь потому, что данный случай в нашем лагере первый, он за каждую убежавшую берет только двоих. Но если что-нибудь подобное повторится, наказание будет значительно строже. Мы должны стеречь друг друга. Узнав, что кто-то собирается бежать, — сообщить. Тогда не придется умирать.

Обреченных увели...

Бои уже идут недалеко от Вильнюса! Сведения, безусловно, не очень точные, из фашистской газеты (ее часто находим на фабрике, в женском туалете под шкафом, — наверно, какая-нибудь латышка специально подсовывает туда для нас).

Где теперь фронт, трудно сказать. Но одно ясно: из России и с Украины фашисты уже убралась. Теперь бои, наверно, идут где-то в Белоруссии, уже совсем недалеко, может, даже ближе, чем мы думаем, — ведь оккупанты о своих неудачах сообщают с большим опозданием.

Но здесь пока еще не чувствуется, чтобы они собирались бежать. Они все еще такие же бесчеловечные и жестокие.

Мы нашли бутылку. Засунули в нее мои бумаги. Пришлось переписать на более тонкую бумагу и совсем крохотными буквами, чтобы больше вместились.

Переписывая, нарочно старалась целые куски писать по памяти. А девушки потом проверяли. Хвалят. Говорят, хорошая память. А по-моему, я ее просто натренировала. Хотя и в школе она меня часто выручала. Если допоздна задерживалась на катке, а признаться маме, что убежала кататься, не подготовив всех уроков, боялась и уходила в школу, не заглянув в книгу. Если вызывали, по памяти повторяла объяснения учителя на прошлом уроке и получала пятерку. Зато теперь ничего не помню.

Бутылку постараясь закопать. Но где? Часовой увидит. Разве что за углом, у самой стены. И закупорить нечем.

Опять убежали! На этот раз из шелковой фабрики, и уже не трое, а девять человек — семь мужчин и две девушки.

В лагере паника. Снова должен приехать тот же главный шеф. Унтершарфюрер носится как бешеный. Орет на Ганса, что тот не умеет выстраивать "этих свиней". Нам грозит, что всех до одного расстреляет. Охранников пугает, что завтра же отправит их на фронт. Маленького Гансика ругает за то, что здесь много грязи. Увидев въезжающую машину шефа, умолкает. Бежит навстречу, вытягивается и рьяно кричит: "Хайль Гитлер!" Но шеф только зло выбрасывает вперед руку.

Мы окаменели.

На этот раз, даже не считая, отбирает заложников: бежит вдоль строя и тыкает плеткой. Приближается к нам... Идет. Смотрит на меня... Поднимает руку... Плетка скользнула мимо самого лица. Ткнула Машу. Она сделала три шага вперед... Ее заберут!.. Расстреляют!..

Шеф подошел к мужчинам. Работающим на шелковой фабрике приказал выстроиться в один ряд. Двух отсчитывает, третьему велит выйти вперед, двух отсчитывает, третьему — вперед. И так весь ряд...

Отобранных выстроили перед нами. Маша тоже стоит среди них. Шеф произносит речь. Мол, виноваты мы сами. Он нас предупреждал: здесь все отвечают за одного. Нам вообще не следовало бы убегать. Ведь работой, крышей и едой мы обеспечены. Надо только хорошо работать, и мы могли бы жить. А за попытку бежать — смертная казнь. Не только тем, которых все равно поймают, но и нам.

Черные машины въехали во двор...

Вот еще одно 21 июля. Мне уже семнадцать лет. Первый день рождения без мамы и четвертый без папы. Неужели их уже нет? Не может быть! А что, если мама тоже где-нибудь в лагере?

Доживу ли я до следующего дня рождения? Где тогда буду? Фашистам уже наверняка будет конец, но дождусь ли я его? Оккупанты уже и сами не скрывают, что бои идут в окрестностях Вильнюса. А Лизе одна латышка на работе рассказала, что в Вильнюсе фашистов уже давно нет, только они еще в этом не признаются.

Неужели это правда? Неужели ни на одной вильнюсской улице нет гитлеровцев и никто не задерживает, не гонит в Понары, можно идти куда хочешь, да еще без звезд, по тротуару? И в Понарах тихо... Если бы все встали из ям и вернулись в свои дома, могло бы показаться, что фашисты, гетто, Мурер, Китель, акции — все это было только долгим, очень страшным сном.

Нет, не сон. Это было. Из Понар уже никто не вернется...

Сегодня нас регистрировали. Ганс уверяет, что приводят в порядок картотеку, потому что в последнее время в лагере произошло много изменений (как цинично они называют увоз на расстрел!), а в картотеках это не отмечено. Неясно, кто в лагере есть и кого нет.

Так ли это?..

Предчувствие меня не обмануло.

Во время вечерней проверки унтершарфюрер стал вызывать по списку. В нем были записаны только пожилые люди. Вызванных выстроили, сосчитали, и конвоиры вывели их за ворота...

Они нетрудоспособны — им больше пятидесяти лет, поэтому они должны быть "переведены в другой лагерь".

Вот для чего "приводили в порядок" картотеку.

Истопники пытались спрятать в котельной Сурица (актера Рижского театра), но один конвоир заметил это и в наказание грозился вместе со стариками увести и самих истопников.

Нам велели заново выстроиться, заполнить промежутки и выровняться для проверки. Мне пришлось перейти в соседний ряд, где всего несколько минут назад стояла одна рижанка — невысокого роста, сидящая, очень интеллигентной внешности. Остался только след ее ног на песке. Но я должна была встать точно на то же место, и не стало даже этого следа...

Убежала еще одна девушка из шелковой фабрики. Говорят, что в нее влюбился молодой латыш и исчез вместе с нею.

Ее не находят. На фабрику приводили собак, но они ничего не почуяли — всюду насыпан табак.

Унтершарфюрер совсем взбесился. Избивает каждого, кто попадет под руку. Ганс уже охрип от крика, а охранники, выслуживаясь, выливают на нас всю злость — толкают, бьют и угрожают, что застрелят тут же на месте.

Главный шеф не приезжает. Значит, заложников не возьмут. Заберут всех...

Хоть невероятно, но, может, ничего страшного не будет — только заново метят одежду и стригут волосы. Конечно, жаль, но пусть лучше берут волосы, чем голову. Женщины уверяют, что немцам, наверно, очень нужна рабочая сила, поэтому не расстреливают.

С кругами, намазанными масляной краской на груди и спине, боясь прикоснуться друг к другу, чтобы не вымазаться, стоим в очереди к парикмахерам. Они наголо снимают волосы машинкой. Несколько девушек уже без волос. Выглядят жутко, просто трудно узнать. Лица кажутся совсем иными; головы какие-то странные, неправильной формы — у одной вытянутая макушка, у другой затылок плоский.

Несколько более смелых не хотели разрешить себя изуродовать. Но унтершарфюрер предупредил Ганса, что избегающие новой метки одежды или стрижки должны быть задержаны, потому что они, очевидно, собираются убежать.

Холодная машинка скользит по голове. На плечи, руки, колени падают клочки волос. Если бы было где хранить, я взяла бы несколько прядей на память. Голове становится непривычно холодно...

Я уже пострижена. Неужели выгляжу так же страшно, как другие? Они, наверно, думают то же самое, глядя на меня.

Над мужчинами, оказывается, глумятся иначе. Им оставляют прежнюю длину волос, но по самой середине головы, от лба до затылка, выстригают тропу. Мужчины выглядят еще страшнее — голова будто разделена пополам. Совсем сбрить волосы им запрещено...

Ведь даже овец и тех метят милосерднее...

В наш блок принесли «талесы» (белый в черную полоску материал, которым верующие евреи покрываются во время молитвы). Разорвали их на куски и раздали нам. Это будут платки. Ганс строжайшим образом приказал носить эти платки не только в лагере, но и на работе. Оголять головы запрещается!

Значит, фашисты не хотят, чтобы посторонние люди видели, как они прививают свою «культуру». Стараются, чтобы их, создателей "новой Европы", считали великодушными рыцарями, культурными освободителями, боятся показать свои черные дела. А я нарочно покажу! Мне совсем не стыдно ходить с голой головой. Пусть все видят, что фашисты вытворяют!

Я обязательно сниму платок! И еще буду других подговаривать!

Ну и дорого же обошлась моя воинственность!

Конвоиры донесли, что, как только мы вышли из лагеря, почти вся наша колонна сняла платки. Гансу только это и нужно было. После проверки он другие бригады отпустил, а нам велел прыгать. Бил больше, чем обычно. Затем стал гонять на четвертый этаж и обратно, вверх — вниз, вверх — вниз.

Еле двигаюсь. Сердце бешено колотится. Во рту пересохло. Горло сжимают спазмы, совсем задыхаюсь. Сейчас упаду...

И все же не падаю. А Гансу уже надоело гонять, и он снова велит прыгать. "Для отдыха" мы должны маршировать с песней и снова прыгать. А для того, чтобы мы лучше «запомнили» этот урок, еще десять раз взбежать на четвертый этаж и обратно.

Когда нас отпустили, весь блок уже давно спал. Мы, конечно, остались и без хлеба.

Я написала для "Женского экспресса" два объявления. В одном говорится, что из Парижа получен новый журнал мод. Оказывается, теперь не в моде ни прически, ни шляпы — только бритые головы и полосатые платки. Женщины Штрасденгофа эту моду, разумеется, сразу подхватили. Во втором объявлении сообщается, что в нашем лагере открыта новая парикмахерская — мужской салон, в котором мужчин стригут по последней моде — с "вошкиными аллеями".

Вывезли много мужчин. Говорят, их погонят разминировать дороги и поля. Я спросила у своей соседки Рут, как это делается. Она только вздохнула и ничего не ответила. А Лиза мне объяснила, что несчастные должны будут просто идти по заминированному полю, пока не нарвутся на мину и не взлетят в воздух, разорванные на куски.

Уму непостижимо, как это чудовищно!

Ночью нас разбудили взрывы. Бомбят!

Лежим, затаив дыхание и ждем новых взрывов. Но их нет. Тихо...

Зря обрадовались. Может, это немцы сами что-то взорвали или наши мужчины подорвались на минах...

Когда нас предупредили, что утренняя проверка будет на полчаса раньше, мы не обратили на это внимания. Но, увидев много солдат, забеспокоились. Что опять?

Солдаты запрудили все входы, даже влезли на крышу.

Помощник унтершарфюрера принес два ящика — один побольше, черный, второй поменьше, светлый. Поставил их, сам влез на табуретку и объявил всему строю, что неработоспособных, то есть старше тридцати лет и моложе восемнадцати, переводят в другой лагерь.

Что значит такой «перевод», мы знаем...

А мне только на прошлой неделе исполнилось семнадцать...

Помощник унтершарфюрера достает из черного ящика пачку карточек и начинает вызывать по номерам. Вызванный или вызванная должны ответить "Jawohl!" и перейти к стене. Эсэсовец выкрикивает номера, и обреченные люди переходят в указанное место. Несколько карточек он откладывает не вызывая: очевидно, люди подходящего возраста. И снова цифра, и снова "Jawohl!". Люди переходят один за другим — так без конца. Около меня уже вышло пятеро, а эсэсовец и не хрипнет, и не кончает. Берет новую пачку. Теперь уже, наверно, вызовет меня. Скажет: "Пять тысяч семь!" Я должна буду ответить "Jawohl!" и перейти... А оттуда...

Скоро... В его руках уже очень мало карточек. Там, наверно, и моя...

Уже!.. Нет... Пока я спохватилась, ответил кто-то другой. Видно, не меня вызывал. Я и не слышала всего номера. "Пять тысяч..." — и обмерла. А ведь много номеров начинается с этих цифр.

Эсэсовец берет уже третью пачку. В этой, наверно, лежит и моя карточка. Вызывает. Люди идут. Скоро пойду и я. Здесь, видно, никого и не останется. Уж взяли бы сразу, без этого мучения...

Помощник унтершарфюрера прыгнул с табуретки! Неужели кончил?

Ганс велел выстроиться — мы пойдем на работу. Стараюсь не попадаться ему на глаза, чтобы не заметил, что я слишком молода. Чувствую, что кто-то пожимает мне руку. Это мои соседки-двойняшки. Ведь мы однолетки, им тоже по семнадцать! Значит, не я одна осталась. Может, нас вообще больше? Нет, всего пятеро... Случайность или ошибка?

Ганс нас трижды пересчитал и отрапортовал унтершарфюреру, что в лагере пятьсот двадцать заключенных. Тех уже не считает... А вчера таким же тоном рапортовал, что в лагере тысяча триста заключенных.

Бригады теперь очень маленькие, даже не представляю себе, как мы будем работать.

Нам дали команду идти на работу, а обреченных погнали в пустое помещение в крайнем флигеле.

Всю дорогу не дает покоя одна мысль: каким образом я осталась? Помощник унтершарфюрера сейчас пропустил или тогда, когда регистрировал, не расслышал, сколько мне лет, и записал на год старше? Если бы знала, легче было бы сориентироваться, что говорить в другой раз, когда они снова что-нибудь придумают.

Настроение жуткое. Больше половины станков стоят. Еще вчера возле них работали наши женщины, а сегодня...

Латышки смотрят на нас с сочувствием. Спрашивают о своих помощниках, жалеют. Даже станки и те, кажется, стучат тише...

В лагере нас встретила мертвая тишина. Раньше мы на проверку выстраивались вдоль всего здания, а сегодня нас хватило только до дверей...

После проверки снова дали работу. Мужчины носили воду, а мы мыли полы, лестницу, даже крышу — смывали пятна крови.

Оказывается, когда обреченных гнали к машинам, мужчины пытались бежать. Одни полезли через забор, другие бросились в блоки, котельную, туалеты. Конвоиры, стреляя, побежали за ними. В блоках и на лестнице убивали прямо на месте. Двое повисли мертвыми на заборе. Найденного в котельной хотели бросить живым в огонь вместе с прятавшими его истопниками. Но больше всего пришлось возиться с одним рижанином, спрятавшимся в трубе. Его никак не могли оттуда извлечь. Выстрелили разрывными пулями, раздробили голову. Тело потом сволокли по лестнице. Бросили в машину вместе с живыми. На лестнице в лужице застывшей крови остался комочек его мозга. Мы завернули его в бумажку и зарыли во дворе у стены. Вместо надгробья положили белые камушки...

Поздно вечером нас пустили в блок. Непривычно пусто. Разговариваем вполголоса, как будто здесь покойник. Спать ложимся все вместе, в одном углу.

Два дня прошли тихо.

Мы боялись, чтобы в воскресенье нас не заставили маршировать с песней мимо белеющей в углу маленькой могилки. На утреннюю проверку мы тащились с тяжелым сердцем.

Оказывается, не этого надо было бояться. После проверки унтершарфюрер объявил, что ночью получен приказ срочно эвакуировать лагерь. Мы прекрасно поняли, что на их языке значит "эвакуировать".

Нас согнали в то же помещение, где в четверг находились жертвы прошлой акции. На стенах написано много знакомых фамилий. Рядом даты, адреса, призывы отомстить. Когда люди это писали, они еще были живы... Теперь остался только этот зов...

Может, и мне оставить здесь след о себе? Пусть кто-нибудь когда-нибудь прочтет...

Вдруг все бросились к дверям... Но черных машин не видно. Стоят несколько грузовиков. Из них выгружают какие-то узлы. Оказывается, это одежда, полосатая одежда заключенных, какую мы видели в "Кайзервальде".

Нам велели раздеться донага, оставив только башмаки и

платки. Может, на самом деле будут эвакуировать? Ведь только для того, чтобы обмануть, пожалели бы одежду. Женщины уверяют, что фашистам, видно, на самом деле очень туго, если нас так срочно эвакуируют. Может, той ночью действительно бомбили наши? Если бы нас сейчас не вывезли, мы дождались бы здесь Красной Армии. А может быть, еще произойдет чудо, и вот сейчас, пока мы стоим в очереди, через ворота ворвутся красноармейцы, обезоружат гитлеровцев — и мы свободны!..

Но... красноармейцев нет, а мы стоим голые в очереди за полосатой одеждой. Первый этаж, стекла окон не закрашены, а эсэсовцы нарочно заставляют нас проходить возле самых окон, за которыми выстроены мужчины. Те стоят опустив глаза. Солдаты их бьют, издеваются и заставляют смотреть...

Я получаю свою новую одежду — длинную и жесткую рубаху, такие же штаны и полосатое грубое платье необычной величины. Осматриваюсь — может, найду какую-нибудь веревку. Я бы хоть подпоясалась, чтобы не запутаться в этом мешке.

Выгоняют во двор. Наше место занимают мужчины.

Помощник унтершарфюрера и Ганс закрывают и запечатывают все двери. Солдаты грузят на машины свои вещи. Все уезжают. Лагерь ликвидируется.

Мужчины уже тоже переодеты. В ворота въезжают все те же страшные черные машины. Эсэсовцы торопят нас. Бьют, толкают, чтобы мы уплотнились. Машины без окон. Темно, душно, а солдаты вталкивают еще и еще — все должны влезть.

Стою сдавленная, еле дышу. Кажется, ребра не выдержат. Неудобно подвернута рука.

Машина едет. То прямо, то куда-то сворачивая, мчится все дальше и дальше. Я уже задыхаюсь. Ноги не держат, упаду. Если бы хоть на минуточку остановились и открыли дверь!

Наконец приехали. Мы в порту. Нас опять выстраивают, еще раз считают и гонят к большому кораблю. Это, наверно, военное судно, потому что под чехлами торчат стволы орудий. На корабль грузят какие-то ящики. Женщины полагают, что это фашисты вывозят станки и другие ценные вещи.

Загоняют на корабль. Палуба почти как площадь. Конвоир открывает люк и велит нам лезть вниз. Лесенка очень крутая, внизу темно. Спускаюсь. Там еще лесенки, и конвоир гонит дальше.

Наконец мы в самом низу. Ощупью ищу место, куда сесть. Кое-как нахожу и сажусь. Оказывается, здесь уже много женщин. Есть и из других лагерей.

Куда нас повезут? Не будет ли еще хуже, чем было? А самое главное — мы опять отдаляемся от фронта.

Сидим. Там, за бортом корабля, время, может, и движется, но здесь оно застыло. Еще день или уже вечер?

Губы запеклись, очень хочется пить. Жарко, душно, рубаха больно натирает шею и под мышками, но снять боюсь: в темноте могу потерять. Хоть бы вытянуть ноги!..

Мы все еще не отчаливаем. Неужели так долго грузят? Что же такое они отсюда вывозят?

Сидящие ближе к выходу начали стучать в крышку люка, прося воды. Долго никто не отвечал, потом люк открыли, и конвоир зло прокричал: "Кто будет шуметь, окажется за бортом! Там много воды!.."

Люк захлопнулся. Снова темно.

Наконец корабль отчалил. Плыдем. Куда? Вернемся ли когда-нибудь?..

О том, что уже утро, рассказали вернувшиеся с палубы девушки. Оказывается, там стоит довольно сговорчивый часовой и разрешает выносить упавших в обморок.

Я бы тоже хотела попасть наверх, но меня опережают те, кто быстрее замечает, кому становится плохо. Есть и такие, которые нарочно разыгрывают обморок.

Соседка предложила мне создать с ней и ее подругой тройку. Одна "упадет в обморок", а две ее вынесут. Я притвориться не сумею, лучше понесу.

Наконец воздух! Вдыхаю его глубоко-глубоко. Солнце слепит глаза, ветерок приятно освежает. Просторно, красиво — только солнце, небо и море. Вдали что-то виднеется, наверно город. Может, Клайпеда? Ведь я там родилась.

"Zurück!" — "Назад!" — орет немец. Так быстро... Наша «больная» слишком рано открыла глаза.

Ночью на палубу не пускали. Мы сидели вялые, потные.

Неожиданно сверху послышался голос гитлеровца: "Воздушная тревога! Не шевелиться — стрелять буду!" Как мы шевельнемся? Да и кто нас с самолета заметит? Смешно.

Вскоре тревога кончилась. Очевидно, самолеты только пролетели мимо.

Утром принесли хлеб. Раздавать поленились, просто бросили. Одни поймали по несколько кусочков, другие (в том числе, конечно, и я) — ничего. Счастливицы делились с нами. Кто-то сунул мне в руку маленький кусочек —хватило, чтобы откусить только четыре раза.

Кончился невыносимо длинный день, прошла и трудная ночь.

Примерно около полудня мы почувствовали, что корабль замедляет ход. Остановился. Но нас не выпускают. Неужели повезут дальше? Тогда уже наверняка задохнемся.

В конце концов дождались спасительного "Heraus!".

Когда мы строились на берегу, я оглянулась: совсем непохоже на порт. Поля, дорога и небольшие домики.

Поглазеть на нас прибежало несколько подростков. Кто-то шепотом спросил их, где мы. Они ответили, что недалеко отсюда Данциг. А меня почему-то не интересует, где мы. Важно, что можно дышать.

Нас снова сосчитали и велели идти. Приплелись к реке. Уже темнело. Нас начали загонять в крытые черные баржи. Опять море. Первые влезли согнувшись, кое-как сели, а конвоиры заталкивали новых. Пугали — тех, кто не влезет, бросят в воду. Сжатых, задыхающихся, нас повезли.

Ночью я была словно в кошмаре: моментами казалось, что уже умираю, моментами я вообще ничего не чувствовала.

Солнце уже было высоко, когда нас наконец выгнали на берег. Мы едва отдышались, как нас уже погнали дальше.

На перекрестках — указатели с надписью «Штуттгоф». Значит, нас ведут туда.

Проходим через чистенькую деревню. По обеим сторонам улицы на солнцепеке дремлют домики. Каждый огорожен заборчиком, окружен цветами. Играют дети... Как здесь тихо! Будто нигде в мире нет ни войны, ни Гитлера, ни Понар...

Вдали показались длинные ряды бараков. Мы завернули направо, и бараки заслонили роскошный сад. Красивые аллеи, каменные домики, фонтан, качели, стол для пинг-понга — настоящий райский уголок. Но сад кончился, и перед нами открылась пустыня, ограждения из колючей проволоки и длинные ряды бараков. Они словно выстроились на песке, отделенные друг от друга поперечными рядами проволоки. Кажется, будто весь лагерь разделен на большие прозрачные клетки. Над оградой, на высоких столбах, торчат будки постовых с окошками во все четыре стороны.

У ворот стоят офицеры. Они нас пересчитывают и выпускают внутрь. У входа постовой монотонно предупреждает, что подходить к ограде запрещается — она под током.

Мы входим в первую клетку. Ворота за нами закрывают. Открывают следующие, в другую такую же клетку. Снова закрывают. Пропускают в третью клетку. И так все дальше, все глубже в лагерь.

Когда проходим мимо бараков, заключенные с нами заговаривают, спрашивают, откуда мы. Хотя за разговоры охранники нас бьют, мы не удерживаемся и отвечаем. Из бараков к нам обращаются по-русски, по-польски, по-еврейски. У одного барака стоят ужасно худые женщины, очевидно больные. Они ни

о чем не спрашивают, только советуют остерегаться какого-то Макса.

Справа от женских — мужские бараки. Ограда между ними двойная — два ряда колючей проволоки. Их разделяет широкий промежуток. Кроме того, с внутренней стороны ограды от столбов протянуты еще и наклонные ряды проволоки.

Мужчины тоже наблюдают за нами. Иногда кто-нибудь несмело выкрикивает, откуда мы. В одном месте какой-то пожилой человек, услышав, что мы из Вильнюса, спрашивает, давно ли мы оттуда. Мне его лицо кажется очень знакомым, но оглянуться опасно: конвоир совсем рядом.

Нас провели в самые последние — девятнадцатый и двадцатый бараки. Здесь уже стояло несколько эсэсовцев и один штатский, но с номером заключенного. Крикнув, чтобы мы выстроились для проверки, этот штатский сразу же начал нас бить и пинать. За что? Ведь мы равняемся, а он ничего другого не велел.

Я вытянулась, замерла. Но этот штатский подлетел, и я, даже не успев сообразить, в кого он метит, скрючилась от страшной боли.

А эсэсовцы стояли в стороне и гоготали.

Этот изверг избил всех — от одного конца строя до другого, причесался, поправил вылезшую рубашку и начал считать. Но тут один офицер заметил, что уже пора обедать, и они ушли, оставив нас стоять.

На другом конце строя стоят несколько десятков женщин. Они рассказывают о здешней жизни, и каждое их слово шепотом передается из уст в уста. Они из Польши. В этих блоках еще только неделю, раньше были в других. Здесь хуже, потому что старший этих блоков — Макс, тот самый, который сейчас избивал. Это дьявол в облике человека. Нескольких он уже забил насмерть. Сам он тоже заключенный, сидит одиннадцатый год за убийство своей жены и детей. Эсэсовцы его любят за неслыханную жестокость.

Так вот что значит настоящий концентрационный лагерь! Выходит, в Штрасденгофе еще было сравнительно терпимо...

Эсэсовцы и Макс вернулись под вечер. Избивая и ругаясь, кое-как сосчитали нас и впустили в бараки. Нары здесь тоже трехэтажные, но без сенников и одеял — просто неотесанные доски.

Нас поднимает крик Макса. В открытое окно летят камни. Бросаемся к двери. Здесь давка, толчея. Неожиданно все начинают пятиться назад: Макс стоит у дверей и бьет каждую выбегающую по голове. Хотим выпрыгнуть в окно, но Макс,

очевидно, угадал наши намерения и уже бежит туда — бить за "нарушение порядка". Неужели мы не знаем, что выходить надо через дверь?

Бегу обратно к двери и еле увертываюсь от удара Макса: он уже успел вернуться сюда.

В наказание за то, что мы недостаточно быстро выбежали на проверку, Макс оставляет нас стоять на жаре весь день. Предупреждает, что в случае малейшего движения постовые будут стрелять.

Солнце безжалостно печет и совершенно не двигается с места — все высоко и высоко. Хочу пить. Ноги дрожат и подкашиваются. Кажется, свалюсь тут же, в песок, в пыль, лишь бы минутку отдохнуть.

Нас регистрировали. Записать свой настоящий возраст я побоялась: ведь тех, кто моложе восемнадцати лет, они считают неработоспособными. Проямлила, что мне двадцать. А если эсэсовец не поверит? За попытку обмануть наверняка расстреляют. Но, к счастью, он даже не поднял на меня глаз.

Нам раздали напечатанные на тряпочках номерки и велели немедленно пришить к одежде (специально принесли иголки с нитками).

Я уже не "номер 5007", а "номер 60821".

После регистрации дали суп. Здесь он еще хуже, чем в Штрасденгофе. Просто тепловатая мутная водичка без единой крупинки. Лишь нескольким девушкам повезло: они нашли по кусочку картофельной шелухи.

Мы в этом лагере уже девять дней. Здесь куда хуже, чем в Штрасденгофе. Макс зверски избивает, мы все ходим в синяках. «Немеченых» лиц нет. Я эти синяки называю "автографами Макса", а некоторые женщины сердятся, что у меня все еще шутки на уме. Но я вовсе не думаю шутить, просто само собой так получается.

Весь день, от утренней проверки до вечерней, входить в бараки запрещается. Если Макс не заставляет стоять «смирно» или на коленях, мы сидим на земле, в пыли, на самом солнцепеке. Тени, куда спрятаться, нет. Пить не дают, если не считать утреннего «кофе» — маленькой мисочки на пятерых.

Эсэсовцы уже трижды отбирали из нашего блока жертвы для крематория. Выстраивают нас, осматривают и самых исхудалых уводят. Первые два раза забрали по тридцать человек, а несколько дней тому назад — шестьдесят. Где этот крематорий — никто не знает. Говорят, что где-то у входа.

Один разносчик супа передал, что виленчанкам шлет привет писатель Балис Сруога. Так вот чье лицо мне тогда показалось

знакомым! Ничего удивительного, что я его не сразу вспомнила. Ведь я видела только его фотографии в учебниках, а там он, конечно, был не в арестантской одежде и не такой исхудавший.

Мне кажется, что я видела на мужской стороне А. Р. с отцом. Но больше, сколько ни смотрю, не вижу. Далеко. Трудно различить. Да, может, и тогда это был не он? Просто считаю живым, поэтому и мерещится.

Пришли одетые в черное эсэсовцы, велели выстроиться и по одной проходить мимо них, показывая ноги. У кого на ногах очень много нарывов, тех сразу прогоняли, а у кого нарывов относительно немного, у тех проверяли еще и мышцы рук.

Я попала в число более крепких. Нас выстроили, сосчитали. Двух крайних погнали назад, чтобы осталось равное число — триста.

Охранник открыл ворота и вывел нас в соседнее отделение. Мы вздохнули с облегчением: будем хотя бы подальше от страшного Макса.

Теперь мы и от остальных своих отгорожены проволокой. Они, бедные, стоят у ограды и с завистью смотрят на нас: мы поедem на работу, а они останутся здесь.

Кто-то пустил слух, что нас пошлют в деревню, к крестьянам. Офицеры об этом говорили между собой. Хуже, очевидно, не будет.

Слух, кажется, подтвердился.

Приходил охранник. Взял десять женщин, спросил, умеют ли они доить коров. Все, конечно, поспешили заверить, что умеют.

А если меня спросят?.. Скажу правду — не возьмут. Совру, что умею, — это скоро выяснится, и меня вернут в лагерь. Что делать? Спрашиваю у других, что скажут они. Но женщины только смеются над моими сомнениями.

Охранник вывел тридцать шесть женщин, в том числе и меня. Каждой выдали по рваному солдатскому одеялу. У ворот ожидали какие-то люди. Они начали нас выбирать.

Осматривают, щупают мышцы, спрашивают, не лентяйки ли. Две девушки плачут — они сестры, а их хотят разлучить: одну выбрал один хозяин, другую — другой. Они просят, чтобы их послали вместе, потому что из всей семьи остались только двое.

На меня никто не обращает внимания, все проходят мимо. Наверно, не возьмут и придется вернуться в этот ад. Может, самой напроситься? Другие так делают. Говорю: "Ich bin stark" — "Я сильная". Но никто не слышит. "Ich bin stark", — повторяю уже громче. "Was, was?" — спрашивает какой-то старик. Начинаю быстро объяснять, что хочу работать, что я не ленива. "Ja, gut!" — отвечает он и проходит... Но, очевидно, передумав, возвращается.

Отводит меня в сторону, где уже стоят три отобранные им женщины.

Подходит конвоир, записывает наши номера и ведет вслед за хозяином.

Идем той же дорогой, которой пришли сюда. Домики так же уютно отдыхают под лучами солнца. Садимся в вагончик узкоколейки. Конвоир не спускает с нас глаз. У самого моего лица грозно блестит его штык.

Наш хозяин — невысокий, кривоногий, лысый старик; глаза — еле прорезанные щелочки, а голос — хриплый и злой. Нами он, очевидно, недоволен. Жалуется конвоиру, что от такой падали не будет никакой пользы. У него уже было четверо таких, как мы, те были из Венгрии, но скоро ослабели, и пришлось увести их прямо в крематорий.

Ну и попались! А я, дура, еще сама напросилась.

Поезд остановился, и мы слезли. Оказывается, за вокзалом хозяин оставил свою двуколку. Конвоир связал нам руки и еще привязал нас друг к другу. Сам уселся рядом с хозяином, и мы двинулись.

Отдохнувшая лошадь трусила рысцой. Мы должны были бежать, иначе веревки врезались бы в тело. Мы задыхались, еле дышали, но боялись это показать: хозяин скажет, что мы слабые, и сразу пошлет назад, в крематорий. А эти семь километров такие длинные...

Наконец свернули на узкую дорожку, проехали мимо пруда и оказались на большом дворе. Величественно красуется дом, зеленеет сад; поодаль стоят хлев, сарай, конюшни. Видно, крепкое хозяйство.

Хозяин еще раз проверил наши номера и расписался, что принял нас от конвоира. Развязывая руки, прочел проповедь: мы обязаны хорошо и добросовестно работать, не саботировать и не пытаться бежать. За саботаж он пошлет нас прямо в крематорий, а при попытке бежать — застрелит на месте. Так напугав, повел в предназначенную для нас каморку. Она в самом конце хлева, полутемная, потому что свет проникает через малюсенькое, засиженное мухами оконце. За стеной хрюкают свиньи... Сенников и подушек нет, только в углу набросано сено. Это будет наше ложе. Просить сенники бессмысленно — все равно не даст. Я осмелилась сказать, что мы очень голодны: сегодня еще ничего не ели. Хозяин скривился и велел следовать за ним. В сенях приказал снять башмаки: в кухню можно входить только босиком. В комнаты входить нам вообще запрещается. Это я должна передать и своим подругам.

Спросив у прислуги, осталось ли что-нибудь от обеда, хозяин

стал ворчать, что она слишком много готовит. Затем велел спросить у своих сестер, можно ли отдать нам оставшуюся картошку. Пришла хозяйка, такая же подслеповатая и угрюмая, как и сам хозяин. Поохала: очевидно, одно только мы и умеем — обедать их. Но все же, сунув нос в кастрюлю, разрешила отдать нам остатки.

Каждой досталось по три картофелины.

Ранним утром наш новый господин отпер дверь и выпустил нас мыться. А сам семенил сзади, чтобы мы не убежали.

Солнце еще только всходит. Холодно. А он торопит — начало пятого. В половине пятого мы должны начать работать — наносить дров, воды, подмести двор, вычистить дорожки в саду; в половине шестого завтрак, и в шесть уже выйдем в поле.

Объяснив, выдал нам всю нашу недельную норму: буханочку хлеба и четверть пачки маргарина. Хозяин предупредил, что этого должно хватить до следующей пятницы; больше хлеба мы не получим, такая наша норма. В кухне по утрам будем получать кофе, а к обеду — суп. На ужин, если смогут, дадут картошки. Но не каждый вечер. В кухню имеет право входить только одна, она будет получать на всех четверых.

Мы решили есть по одному ломтику хлеба в день, и только к завтраку. Но как удержаться, когда впервые за столько времени имеешь целую буханочку! Может, сегодня поесть более сытно, подкрепиться, а потом уже есть поменьше? Отломил еще по кусочку. Потом еще по два. Хорошо, что хозяин пришел звать в поле, иначе ничего бы не осталось.

Хозяин едет верхом на лошади, а мы тащимся сзади пешком. Оказывается, мы здесь не одни. Есть украинец Иван с женой и тремя детьми (их оккупанты вывезли перед отступлением), французский военнопленный и полька Зося (эта наивная девушка поверила в обещанный гитлеровцами рай в Германии и добровольно завербовалась на работу; теперь она убивается, плачет, но назад ее, конечно, не пускают).

Поля по обеим сторонам дороги принадлежат нашему хозяину. Он, наверно, эсэсовец или просто какой-то «деятель», потому что часто по вечерам берет винтовку и выезжает на велосипеде на какие-то сходки или ночные дежурства. Он очень злой и скупой старый холостяк, а его сестры — старые девы — просто ведьмы. Бесят, когда приходится дать тарелку супу детям Ивана, которые не работают. Впрочем, старшему, семилетнему мальчику, часто дают работу. И совсем не по детским силам.

Все это мы узнали от Ивана, пока шли на поле.

Как только пришли, хозяин сразу велел начать работать.

Француз косит рожь, а мы идем следом и вяжем снопы.

Сначала казалось, что это нетрудно, только руки колет, но скоро исколотые руки заболели. Начала ныть поясница.

Когда можно будет отдохнуть? Оказывается, только в полдень, во время обеда. Долго ли еще ждать? Иван учит определять время по тени. Сейчас только около десяти. Как долго еще до вечера! Может, заговорить с французом? Он, наверно, очень обрадуется. Но что ему сказать, если все выученные в школе французские слова испарились из памяти? Разве что спросить, который час. Это помню.

Я собиралась-собиралась, пока не пришло время обеда. Суп привезли сюда, чтобы мы не тратили времени на ходьбу. Француз, не подозревая о моих намерениях, ушел со своей мисочкой в тень.

Мы еще не успели поесть, а хозяин уже снова гонит работать. Дал бы хоть передохнуть!

Как же все-таки заговорить с французом? Я несколько раз начинала напевать "FrXre Jaque" — ничего другого вспомнить не могла, но он не обращал внимания. Не слышал или делал вид, что не слышит.

Скоро боль заслонила все мысли. Исколотые руки опухли, покраснели — страшно смотреть. А поясница — будто ее кто-то штыком пронизывает. Очень хочется пить. От голода сосет под ложечкой, хотя я сегодня ела и хлеб и почти настоящий картофельный суп. Иван научил лущить колосья и есть зерна, но заниматься этим некогда — и так еле успеваем за косилкой. Иван жалуется: понимал бы француз по-русски, мы попросили бы не торопиться. А когда лишь на пальцах объясняемся, он не знает, чего мы хотим. Я предложила себя в "переводчицы".

Француз очень обрадовался, услышав родную речь, и стал скороговоркой что-то мне рассказывать. Я еле разобрала несколько слов, попросила говорить медленнее, потому что французский знаю очень слабо. Передала общую просьбу работать не в таком темпе.

Стало легче: француз работал посвистывая, а если видел, что мы отстаем, поджидал. Наша Рая боялась, что хозяин это заметит и обвинит в саботаже. Но француз и сам не глуп: завидев приближающегося хозяина, сразу прибавлял скорость.

Солнце уже спускалось к горизонту, а хозяин и не думал отпускать нас домой. Ничего удивительного, что наши предшественницы не выдержали. Мы тоже, наверно, не выдержим.

В конце концов хозяин объявил, что уже половина девятого и мы можем кончать работу. Медленно потащились в свой хлев...

Воскресенье для всех, кроме нас, день отдыха. Мы должны

были не только наносить дров и воды, подмести двор и вычистить дорожки в саду, но еще дать корм скотине и тщательно вычистить праздничную коляску, в которой хозяева торжественно поехали в кирху.

После обеда француз ушел к своему приятелю, работающему невдалеке отсюда, жена Ивана стирала свое белье, а Зося прилегла: она опять всю ночь не спала, плакала. Нас хозяин запер и, забросив за плечо винтовку, куда-то укатил.

Тихий воскресный полдень. Даже листочки деревьев лениво дремлют на солнце. И птицы не летают. Все отдыхают.

Одолжив у жены Ивана ножницы и иголку с нитками, мы «прихорашиваемся» — укорачиваем и суживаем свою одежду. Таня умеет шить, поэтому помогает нам. Из отрезанных полосок все сшили себе бюстгальтеры. Мне не нужно: я слишком худая...

Если б не рижанка Рая, мы бы хоть в эту минуту могли забыться, не терзать сердце. Но она ни на минуту не умолкает. Уже в третий раз за эти несколько дней она все с новыми подробностями рассказывает о том, как потеряла своего ребенка.

В Рижском гетто она еще была с мужем и ребенком. Узнав, что детей заберут, они решили покончить с собой. Муж сделал укол ребенку, затем ей и себе...

К сожалению, они проснулись. Ребенка не было. Они даже не слышали, когда его забрали. Теперь ее мучает страх, что ребенок, может быть, проснулся раньше их и плакал в испуге, будил их, а они не слышали... Может, палачи его били, выкручивали ручки. Ведь он, наверно, вырывался от них...

Муж почти лишился рассудка. Он никак не мог понять, почему яд не подействовал...

Как ее утешить? Мы говорим ей, что дозы, недостаточной для взрослого, наверно, хватило, чтобы убить ребенка. Утешаем мать, убеждая, что ее ребенок умер!..

Вечером хозяин погнал нас доить коров. Вот чего я все время боялась! Хоть бы корова была спокойной.

Притащились и обе хозяйки: стеречь, чтобы мы не выпили молока.

Тяну, тяну, а молока — ни капли. Корова злится, наверно, сейчас лягнет. Потягиваю сильнее. Брызнуло несколько капель, но потекли по моей руке до локтя. Вдруг я почувствовала пинок. Это хозяйка «угостила» меня ботинком в спину, да так, что я боднула корову в живот.

Смотрю на других — у них получается, особенно у Тани. Настоящие золотые руки у этой девушки, можно подумать, что она всю свою жизнь ничего другого не делала, только доила коров. Я присматриваюсь, как она держит пальцы, и тяну. Молоко

двумя веселыми струйками стучится в дно ведра.

Мы выдоили всех коров — двадцать семь. К концу руки так начали дрожать, что совсем перестали повиноваться.

Ночью я не спала — клала руки и так и сяк — все равно болели.

Возим рожь. Мне, как всегда, «везет»: когда нагрузили первый воз, хозяин велел мне сесть верхом на лошадь (в воз их впряжено четыре) и везти домой. А как сесть, если я достаю лошади только до половины живота и никогда в жизни не ездила верхом? Француз это, наверно, понял, потому что поднял меня, как ребенка, усадил и стал что-то быстро объяснять. Если бы он так не торопился, я бы наверняка поняла вдвое больше. Наконец я сообразила, что он говорит о доме, заборе и лошади. Он учит слезать с лошади: советует доехать до забора, стать на забор и только потом прыгнуть на землю. Что ж, мерси.

Убираем лен. Я и не представляла себе, что он такой вкусный! Таня велит жевать его побольше: он содержит жир, которого наш организм уже так давно не получал. Если будем довольствоваться тем, что нам дают, долго не выдержим, особенно при такой тяжелой работе.

Хозяин постоянно торопит, гонит, не дает ни минуты передохнуть. Хорошо, что Зося научила, как его провести. Оказывается, хозяин боится женской наготы, и, когда он приходит будить, Зося делает вид, что сбрасывает с себя одеяло. Старик вылетает пулей, а она еще может полежать.

Теперь и мы, когда хозяйское понукание становится неумолимо, пользуемся этим. Делаем вид, что очень жарко, снимаем платья и работаем в одних рубашках. Хозяин, ругаясь, бежит прочь и издали, стоя к нам спиной, кричит, чтобы мы оделись. А мы притворяемся, будто не слышим, или невинным голосом отвечаем, что очень жарко и раздетые будем быстрее работать. Старик сидит злой в канаве у дороги и плюется.

Бои с фашистской армией идут уже совсем недалеко. Об этом рассказали соседи хозяев. Между прочим, они очень человечны. Может потому, что бедны. Своей земли не имеют, зарабатывают на жизнь у богатых соседей. Но этот «заработок» очень странный: за помощь во время уборки урожая наш хозяин разрешает им собирать на пустом поле упавшие при уборке или перевозке колосья. По целым дням бродят они, согнувшись, по жнивью, собирая в мешочки по колоску.

Когда вблизи нет хозяина, они с нами разговаривают, рассказывают новости о фронте. Однажды даже поделились своей семейной бедой: один сын коммунист и томится в концентрационном лагере (может, его уже и нет в живых), а

второй сын — эсэсовец, надсмотрщик в том же лагере. От брата, конечно, публично отрекся. И у родителей не бывает, стыдится, что они такие бедные и что отец подрабатывает, делая деревянные башмаки.

Новости о приближении фронта расшевелили дремавшие надежды. Только бы скорее пришла Красная Армия!

Уже холодно. Особенно по утрам. Ничего удивительного — октябрь. Осень. Дрожим, лязгаем зубами, но хозяин этого даже не замечает. Мы попросили каких-нибудь старых сермяг, но он буркнул, что положенную нам одежду мы получили в лагере и этого нам должно быть достаточно.

Кутаемся в одеяла. Но все равно холодно: одеяла под дождем намокают, а ноги стынут от мокрой свекольной ботвы. Ночью накрываемся теми же промокшими одеялами. Мы просили хозяина дать больше сена, чтобы можно было в него зарыться, но вредный старик не дал. А сквозь щели дует холодный ветер... Лежим съезжившись, дрожим, засыпаем с трудом.

Как хорошо хозяйским собакам! Спят в тепле и едят досыта. Вот тебе и "собачья жизнь"!

Что будет дальше? Работы подходят к концу. Картошка выкопана, свекла вывезена. Теперь мы щиплем перья, потом будем стирать белье и квасить капусту. А дальше? Ведь больше мы не нужны. А ненужных они посылают в крематорий...

Неужели мы его все равно не избежим?..

Стираем белье. Уже второй день стоим у большой бадьи и руками трем бесконечно много простыней, наволочек, полотенец. Уже кожу с пальцев стерли. Досок для стирки хозяйки не дают — разве им жаль наших рук!

Выпал первый снег. Ноги посинели от холода. Жена Ивана одолжила нам пару чулок (у самой только две пары). Будем носить поочередно, меняясь каждый день. Начали по старшинству. Я получаю только послезавтра.

Нас возвращают в лагерь...

Зося слышала, как хозяин рассказывал, что есть приказ всех вернуть до пятнадцатого ноября.

Осталось два дня. Значит, снова в это пекло — и снова тает надежда.

Последнее утро.

Как быстро промчались эти три месяца! Очевидно, потому, что мы жили почти спокойно и смерть казалась не такой неизбежной. А теперь мы к ней снова приближаемся.

Иван рассказывает, что работавшие по соседству две девушки повесились, чтобы не вернуться в лагерь...

На дорогу нам дают по два ломтя хлеба. Хозяин берет

винтовку и уводит нас. Жена Ивана плачет, а француз долго машет шапкой...

Идем мимо пруда. Вода в нем будто потускнела. Деревья на прощание сбрасывают нам под ноги свои последние листочки. Они грустно шуршат.

Все остается здесь. Деревья, дорога, пруд. Они здесь будут и в следующем году, и через десять лет. Природа долговечней человека. Особенно — нас...

На станции много наших. Хозяева передают всех конвоирам. Наш хозяин тоже получает расписку, что от него принято четверо заключенных. Говорит конвоиру "Хайль Гитлер" и уходит, даже не взглянув в нашу сторону.

Привезли и обеих повесившихся.

Уже темнело, когда мы прибыли в лагерь. Снова раскрылись и закрылись ворота. Мы опять в клетке.

Считают мучительно долго: не сходится. Проверяют каждый ряд, бьют, если вдруг покажется, что неровно стоим, снова считают и еще ожесточеннее ругаются. Они, наверно, забыли о покойниках. Но кто им об этом напомним?

Совсем стемнело. Надзиратели уже бесятся. Наконец кто-то осмелился крикнуть: "Zwei sind tot!" — "Двое мертвы!"

Офицер возмущен такой наглостью, требует выдать кричавшую. Ворвавшись в строй, избивает человек десять. Но напоминание все-таки помогло: вскоре нас впускают в барак.

При свете слабой лампочки мы увидели жуткую картину: в одной половине барака, прямо на полу, в четыре ряда, тесно прижавшись друг к другу, спят нераздетые женщины. Голова одной у ног другой. Ужасно душно, вонища. Кто-то крикнул: "Поворачиваемся!" И все, подталкивая друг друга, повернулись. Теперь они лежат лицом к нам. Некоторые проснулись, смотрят на нас. А мы стоим, растерянные и испуганные.

Влетела надсмотрщица и стала нас колотить. Это означало, что мы должны лечь и так плотно сжаться, чтобы поместились все.

Сон не идет. И по ту сторону прохода, кажется, тоже не спят. Мы с ними тихо заговариваем. Давно ли здесь? Одиннадцать месяцев. А на работу посылают? Несколько групп посылали рыть окопы, но люди там работали по пояс в воде, отморозили ноги, и с работы их вернули прямо в крематорий. На их место взяли новых...

Неужели это правда? А может, они преувеличивают? Ведь и у хозяина до нас работали другие девушки, которые не выдержали. А мы оказались выносливее.

На нас напали вши. Мы стали упрекать тех женщин, что они

так опустились и развели насекомых. Оказывается, они не виноваты: здесь нет воды.

Вываться! Обязательно вырваться отсюда! Хоть окопы рыть, хоть камни дробить, только не оставаться здесь!

Днем пришел одетый в черную форму эсэсовец. Начал отбирать более крепких. Поняв, что он отбирает для работы, все ринулись к нему с криком, что они здоровые и хотят работать. Сначала эсэсовец растерялся, но сразу опомнился, начал колотить направо и налево, отгоняя всех от себя. Но не мог справиться: жажда вырваться заглушила страх. Только вытащив револьвер, он разогнал нас.

Отобрав пятьсот женщин, он их увел. Я осталась тут.

В следующий раз я тоже попала в число отобранных и почувствовала себя почти счастливой — все-таки вырвусь!

Нас повели в баню, велели раздеться и впустили в большой предбанник. Войдя туда, мы обомлели: прямо на каменном полу сидели и даже лежали страшно изможденные и высохшие женщины, почти скелеты с безумными от страха глазами. Увидев за нашими спинами надзирательниц, женщины стали испуганно лепетать, что они здоровые, могут работать и просят их пожалеть. Тянули к нам руки, чтобы мы помогли им встать, тогда надзирательницы сами убедятся, что они еще могут работать...

Я шагнула, чтобы помочь сидящей вблизи женщине, но надзирательница отшвырнула меня назад.

Властно чеканя слова, она велит не поднимать паники — всех помогут и вернут в лагерь. Когда поправятся — смогут вернуться на работу. Мыться должны все без исключения: грязных в лагерь не пустят.

Нам она приказывает этих женщин раздеть и вести в соседнее помещение, под душ.

От страшного запаха меня мутит. Хочу снять с одной женщины платье, но она не может встать: ноги не держат. Пытаюсь поднять, но она так вскрикивает от боли, что я замираю. Что делать? Поглядываю на других. Оказывается, они мучаются не меньше меня. Надзирательницы дают нам ножницы: если нельзя снять одежду, надо разрезать.

Ножницы переходят из рук в руки. Получаю и я. Разрезаю платье. Под ним такая худоба, что даже страшно дотронуться. Кости прикрывает только высохшая морщинистая кожа.

Снять башмаки женщина вообще не позволяет — будет больно. Я обещаю верх разрезать, но она не дает дотронуться. Уже две недели не снимает башмаков, потому что отмороженные, гноящиеся ступни приклеились к материалу.

Что делать? Другие уже раздели нескольких, а я все еще не

могу справиться с одной. Надзирательница это, видно, заметила. Подбежала, стукнула меня по голове и схватила несчастную за ноги. Та душераздирающе закричала. Смотрю, в руке надзирательницы башмаки с прилипшими к материалу кусками гниющего мяса. Меня затошнило. Надзирательница раскричалась, но я плохо понимала ее. Кажется, она кричала, что у меня слабые нервы, что я ничуть не лучше этих больных женщин...

Я бросилась раздевать следующую.

Тех, кто ходит, вводим, а лежащих вносим и кладем под душ. Немного обмыв их, выносим назад, в холодный предбанник, и снова кладем на каменный пол. Полотенец нет. Несчастные стучат зубами. Мы тоже дрожим: бегаем мокрые из предбанника под душ и обратно.

Когда надзирательница отвернулась, я спросила у одной женщины, откуда она. Из Чехословакии. Врач. Привезли в «Штуттгоф», а затем, как и нас, увезли на работу. Они рыли окопы. Работали, стоя по пояс в воде. Спали на земле. Когда обмороженные руки и ноги начали гноиться, вернули в лагерь. Рыть окопы повезли других. Их ждет та же участь.

Так вот куда на днях увезли партию женщин! А мы им завидовали...

Когда мы всех «выкупали», нас выгнали оттуда, дали продезинфицированные платья и повели назад, в барак. Уходя, мы слышали крики несчастных. Их, наверно, уже тащили. И конечно, не в лагерь...

Зачем же надо было издеваться, мыть?

Всю ночь я не сомкнула глаз. Передо мной все время стояло это страшное видение.

Время тянется очень медленно.

Жутко холодно. Какая мука по утрам и вечерам стоять на проверках! Бушует выюга, дует холодный, насквозь пронизывающий ветер. А надо стоять в одних платьях и ждать, пока эсэсовцы соизволят прийти пересчитать нас. Каждое утро и вечер падает несколько женщин.

На днях одна не выдержала и бросилась на проволочную ограду. Это единственный способ покончить жизнь самоубийством. Но женщину только сильно потрянуло. Девушки предполагают, что постовой заметил и успел выключить ток. Узнав об этом, надзирательница сильно избила несчастную. Орала, что никто не имеет права так поступать: "Жизнь принадлежит господу богу!" А ведь осенью, когда мы работали в деревне, эта же надзирательница придумала такое воскресное «развлечение»: приходила после обеда вместе с другими надзирательницами, выбирала какую-нибудь слабую женщину и

толкала ее на ограду. Между собой они бились об заклад — с которого раза заключенная повиснет на проволоке мертвой (иногда от тока только начинало трясти и отбрасывало).

Ужасно грязно. Воды не дают. Умывальни закрыты. Не перестает мучить страшная жажда. Так называемый суп, в котором лишь изредка попадает кусок гнилого листка капусты или шелухи сладковатой, мерзлой картошки, странно острый, будто в него всыпали перец. Он сушит, жжет рот; мы сосем грязный, вытоптанный снег. А ведь тут же, у барака, вырыта яма, заменяющая туалет. Досок, чтобы ее накрыть, не дают. Край скользкий. Одна женщина недавно упала в яму. Мы ее еле вытащили.

О наступлении Красной Армии ничего не слышно.

Пришли несколько офицеров. Стали нас осматривать. Мы обрадовались: наверно, возьмут на работу!

Началась страшная сумятица — каждая старается, чтобы ее выбрали. А эсэсовцы недовольно морщатся — все одинаково «дохлые». И хотя не очень придирчиво отбирали, все же взяли немногих.

Я оказалась среди отобранных. Может, на этот раз уже не поведут раздевать других и на самом деле повезут на работу?

Нас присоединили к большой группе, пригнанной из других барачков, сосчитали (всего тысяча) и повели в ту же баню, где мы недавно раздевали несчастных женщин. Может, скоро и нас привезут сюда в таком же состоянии?..

Померзнув под холодным душем, мы получили чистые рубахи, полосатые платья и такие же полосатые куртки. Записали наши номера и повели в какой-то недостроенный барак. Дверей нет, окна еще тоже не вставлены, ветер дует, заносит снег.

Когда стемнело, принесли рваные солдатские одеяла и платки. Объявили, что ночевать будем здесь же, в бараке. На работу повезут только завтра.

Пола нет, земля промерзшая, валяются куски досок, гвозди, но все равно надо лечь: стоять запрещается.

Ночь очень длинная. Холод сковал все суставы, заснуть нет никакой надежды. Хоть бы скорее утро! Пытаюсь представить себе, как будет выглядеть новый лагерь, что мы там будем делать. Если будем рыть окопы, надо будет стараться как-нибудь сохранить ноги. Может, найду там старую бумагу и оберну их? И обязательно каждый день буду снимать башмаки. Может, там суп будет лучше? Возможно, и воды дадут, и наконец помоемся. Хуже, чем здесь, наверно, не будет.

Как я могла здесь выдержать почти месяц? (Когда регистрировали, я видела, что на листе написано: "11 декабря".)

Послышалась обычная команда: "Aufstehen!" — "Встать!"

Тот же надзиратель проверил нас по списку и, убедившись, что все на месте, повел. Но странно, не к воротам, а назад, к камере одежды. Велел отдать одеяла, куртки и платки. Кто медлил или осмеливался задать вопрос, получал по голове.

Нас привели обратно в тот же вонючий барак, из которого мы вчера вышли с такими надеждами...

Оказывается, нас не вывезли на работу потому, что в лагере началась эпидемия тифа. Карантин. Лагерь закрыт.

Эпидемия! Она охватит всех, невзирая ни на возраст, ни на вид. Тиф не разбирает... К тому же нас, конечно, не будут лечить. Может, даже нарочно заразили, чтобы мы вымерли. Не заболевают ли от этого страшного супа? Может, он такой острый не от перца?

Как уберечься? Как найти в себе силы не есть этот суп, нашу единственную пищу? Как научиться совсем-совсем ничего не есть, даже не сосать этот грязный снег?

Но поможет ли это?

Кажется, я заболела. Голова тяжелая и гудит. Во время проверок меня поддерживают под руки, чтобы я не упала. Неужели это тиф?!

Я болела...

Женщины рассказывают, что в бреду я напевала какие-то песенки и страшно ругала гитлеровцев. Они даже не подозревали, что я знаю столько ругательных слов. Хорошо, что голос слабенький, да и гитлеровцы сюда больше не заходят — боятся заразиться. За такие слова пристрелили бы на месте.

А мне неловко, что я ругалась. Объясняю, что у нас в семье никто никогда... Папа адвокат. Женщины улыбаются моим объяснениям...

Говорят, что я выкарабкалась. Переболела. А мне кажется, что они ошибаются. Это, наверно, было что-нибудь другое, еще не тиф. Ведь тиф — страшная болезнь! Я бы так просто, без лекарств, не выздоровела, ведь умирают более крепкие, чем я. Но женщины объясняют, что тиф как раз сокрушает крепкие, никогда не болевшие и поэтому не привыкшие бороться с болезнью организмы.

Знала бы мама, как спасли ее мучения со скарлатинами, желтухами и плевритами моего детства!..

Во двор умыться снегом ползу на четвереньках. Встать не могу — перед глазами расплываются зеленые круги.

Здесь настоящий лагерь смерти. Гитлеровцы уже не следят за порядком. Проверок нет: они боятся войти. Есть не дают. Даже так называемый суп получаем раз в два-три дня. Иногда вместо

него приносят по две мерзлые картофелинки. Хлеба мы уже давно не видели. А есть ужасно хочется: я начинаю выздоравливать.

Донимают вши. Уже не стеснясь, давим. Но, к сожалению, их не становится меньше.

Умерла красавица Рут. Начали гноиться ноги, потом руки. И вот она умерла... В последнее время уже не вставала. А ведь еще в Штрасденгофе она была такая красивая! Всегда бодрая, не поддающаяся плохому настроению. Как она верила, что мы дождемся свободы и что она встретится с мужем! Теперь ее, страшно распухшую, сунут в печь крематория. Все. Молодость, красота, жизнелюбие превратятся в пепел...

Кто-то уверяет, что уже Новый год. Слышал, как один постовой поздравлял с Новым годом надзирателя.

Значит, уже 1945-й... В этом году война наверняка кончится. Ведь гитлеровцев уже добивают. Но... Не зря говорят, что смертельно раненный зверь страшен вдвойне. Неужели мы будем его предсмертными жертвами? Не может быть! Зачем думать, что, отступая, обязательно уничтожат нас? А может, не успеют? И тогда мы будем свободны! Может, и мама с детьми в каком-нибудь лагере? Их тоже освободят. И папа вернется. А Мира уже будет ждать нас в Вильнюсе. Мы все встретимся в старой квартире. Я по утрам снова буду спешить в школу, Мира — в университет. Раечка с Рувиком тоже потопают в школу — ведь уже подросли... Но когда это будет? И будет ли вообще?

Рая, с которой мы вместе работали у помещика, рассказывает, что слышала от разносчика супа, будто ночью в крематории был пожар. Сгорела газовая камера. Предполагают, что кто-то поджег.

Нас это все равно не спасет.

Жуть! Я спала, уткнувшись в труп. Ночью я этого, конечно, не чувствовала. Было очень холодно, и я уткнулась в спину соседки. Руки подсунула ей под мышки. Кажется, она зашевелилась, прижимая их. А утром оказалось, что она мертва...

Пришла надзирательница. Велела всем, кто уже переболел, выстроиться. Думая, что будут отправлять на работу, пытались встать и больные. Но она сразу заметила обман.

Нас очень немного. Надзирательница отобрала восьмерых (в том числе и меня) и заявила, что мы будем "похоронной командой". До сих пор был большой беспорядок, умершие по нескольку дней лежали в бараках. Теперь мы обязаны умерших сразу раздеть, вырвать золотые зубы, вчетвером вынести и положить у дверей барака. По утрам и вечерам мимо будет проезжать лагерная похоронная команда и увозить трупы.

Не знаю, как я понесу других, если сама еле двигаюсь. В глазах рябит, ноги подкашиваются. Передвигаюсь, только держась

за стену.

Подходим к одной женщине, которая умерла сегодня утром. Беру ее холодную ногу, но поднять не могу, хотя тело умершей совершенно высохшее; остальные три уже поднимают, а я не в состоянии. Надзирательница дает мне пощечину и сует в руки ножницы и плоскогубцы: я должна буду раздевать и вырывать золотые зубы. Но если осмелюсь хоть один присвоить — отправлюсь вместе со своими пациентками к праотцам.

Покойную кладут к моим ногам. Смотрю — она, кажется, жива! Глаза открыты и как будто шевелятся! Но надзирательница торопит раздевать. Несмело дотрагиваюсь пальцем — холодная. Так почему такие глаза? Наконец догадываюсь, что в них отражается висящая под потолком лампочка, которую раскачивает ветер. Дрожащей рукой разрезаю платье. Приподнимаю, хочу раздеть, но тело не держится и валится назад, глухо ударяясь головой об пол. Я должна поддержать, прижать к себе. А тело такое холодное. Словно насмехаясь надо мной, покойница сверкает золотыми зубами. Что делать? Не могу же я их вырвать! Оглянувшись, не видит ли надзирательница, быстро зажимаю плоскогубцами рот. Не станет же она проверять.

Но надзирательница все-таки заметила. Она так ударяет меня, что я падаю на труп. Встаю. А она только этого и ждала — начинает колотить какой-то очень тяжелой палкой. И все метит в голову. Кажется, что голова треснет пополам, а надзирательница не перестает. На полу кровь...

Она избивала долго, пока сама не задохнулась.

Весь проход завален мертвецами. Их надо раздеть. Но я не могу, совсем не могу! Лучше буду носить, ползать из последних сил, но только не раздевать! Пусть кто-нибудь сжалится надо мной. Я не могу... Мне плохо... Очень плохо...

Раздевать стала другая.

Уходя, надзирательница открыла нам умывальню. Сказала, что можем помыться и здесь же спать. Но, к сожалению, воды нет. Только называется умывальней.

Пол каменный, холодно, но, по крайней мере, не так воняет. Женщины легли. Я бы тоже легла, но очень болит разбитая голова, не могу ее положить. Подперла лоб пальцами и сижу...

Очевидно, я все-таки задремала, потому что проснулась, дрожа от холода. Оказывается, мы насквозь мокрые: прямо на нас из так называемого душа льется ледяная вода.

Мы вбежали в барак. Узнав, что идет вода, все проснулись и бросились в умывальню. Но вода, словно заколдованная, перестала литься. Несколько женщин напились из лужиц, образовавшихся на полу, а другим и того не досталось.

В нашем бараке ежедневно умирают по сорок — шестьдесят женщин. У дверей постоянно лежат горы окаменевших, посиневших трупов. Приезжает телега, в которую впряжены заключенные. Двое мужчин берут за руки и за ноги высохшее, замерзшее тело, раскачивают его и забрасывают на грудь таких же голых трупов.

Крематорий работает круглые сутки, около него навалены большие горы трупов: в лагере ежедневно умирает около тысячи человек.

Похоронщики привезли хорошую новость: фронт приближается!

Мужчин эвакуируют. Мы видели, как увели три группы. И эсэсовцев становится меньше. Очевидно, лагерь ликвидируют. Работоспособных выводят, а нас, наверно, сожгут вместе с бараками.

Женщин тоже будут эвакуировать.

Рано утром пришел надзиратель и заявил, что те, кто в состоянии идти пешком, должны быть готовы к уходу отсюда.

Я идти пешком не смогу...

Вот и конец. Когда свобода уже совсем близко, я окончательно выдохлась. Если бы у меня было хоть немножечко сил. Хоть капелька надежды, что поплетусь!

Под вечер тот же гитлеровец снова пришел и велел строиться. Все, кто только мог, покинули барак. Я оглянулась. В бараке остаются только трупы и те, кто не в силах даже сесть... Нет, я не останусь! Ни за что не останусь! Я пойду! Пусть будет что будет, но только не здесь! Только не лежать и не ждать, пока подожгут.

Пошатываясь, выхожу. В бараке остается одна относительно здоровая женщина: она не хочет оставить умирающую подругу в ее последний час.

Нас выводят. Какой большой толпой мы сюда пришли и какой жалкой кучкой уходим... И все равно еще не на свободу.

Ночуем в том же бараке без окон, где однажды уже пришлось дрожать от холода.

Утром мы получили хлеб — треть буханочки. Предупредили, что этого должно хватить на три дня. Значит, столько будем в пути. Но неужели все время пешком? Только бы выдержать!

Вначале, когда я немного разошлась, я поверила было, что смогу идти, но вскоре ноги стали подгибаться. Казалось, что больше не смогу сделать ни одного шага. Но все-таки заставляла ноги делать этот шаг, потом еще один, и снова несколько... Уговаривала себя, что, может, скоро уже разрешат отдохнуть. Обязательно надо выдержать до отдыха! Потом будет легче.

Я уже почти совсем падала, когда конвоиры наконец

засвистели и велели сесть по обеим сторонам дороги, у рва. Я свалилась, закрыла глаза, но перед ними все равно мерцал грязный дорожный снег. Еле переводила дух. Не помогли ни снег, ни сосульки, которые я все время сосала.

Встать было еще труднее. Но женщины мне помогли.

Я не представляла себе, что выдержу до вечера.

Когда стало смеркаться, нас пригнали в какую-то усадьбу. Одних закрыли в сарай, других загнали в хлев. Какое это счастье — лежать всю ночь, до самого утра! Я отломила кусок хлеба и, жуя, всплакнула: как хорошо, что я не осталась в лагере. Теперь меня уже, наверно, не было бы. А здесь я все-таки живая.

Осталось еще два дня...

Зря мы надеялись, что будем в дороге три дня. Дни прошли, а конца пути не видно. Идем и идем. Наверно, будут гнать до тех пор, пока не свалятся последние. Ежедневно в пути падают несколько женщин. Падают, и даже с помощью других не в состоянии подняться. Конвоир пускает очередь в голову, пинает ногой, и очередной труп скатывается в ров. Проходя мимо ближайшего села, конвоиры сообщают, что за несколько километров отсюда лежит труп, который надо закопать. Скоро потеплеет, может начаться эпидемия.

Сегодня мимо нас провели колонну советских военнопленных. Выглядят они ужасно — изголодавшиеся, желтые, высохшие. С каким сочувствием смотрели они на нас.

Я старалась не пропустить ни одного лица: может, среди них мой папа?

Меня уже ведут. Сама идти не в состоянии. Из последних сил стараюсь слишком не наваливаться на ведущих меня женщин, стараюсь сама переставлять ноги. Но это невероятно трудно. Кроме всего прочего, затрудняет ходьбу прилипающий к деревянным подошвам снег.

Мы страшно голодаем: есть совсем не дают. Иногда какой-нибудь из хозяев, в сарай которого нас закрывают на ночь, дает для нас котел картошки. Получаем по одной или по две малюсенькие картофелинки и здесь же, в сарае, их проглатываем. А это так мало...

Мы научились распознавать заснеженные бункера, в которых зарыта на зиму картошка или свекла. Ни удары, ни даже выстрелы конвоиров не могут остановить голодных женщин — они набрасываются, окоченевшими руками разгребают снег, разрывают землю и расхватывают свеклу. Когда мы уходим, на вытоптанном снегу остается несколько убитых. В стынувших руках зажата столь желанная свеколка.

Иногда и нам, кто не может бежать вместе со всеми, приносят

свеколку или картофелинку. Но, к сожалению, бункера попадают далеко не каждый день. Чтобы не так мучил голод, сосу снег и сосульки.

Я начала опухать. Та сторона, на которой ночью лежу (лежать на спине не удастся: нет места), отекает, заплывает глаз, до полудня не могу его открыть. А на ноги даже смотреть страшно: они так распухли, что еле влезают в те большие мужские башмаки, в которые я когда-то напихивала столько бумаги. Боюсь, что в какое-нибудь утро я их совсем не всуну в башмаки. Но не идти же босиком по снегу! А не снимать не рискую. Будет как с теми, которых мы тогда мыли...

Конвоиры чем дальше, тем становятся злее. Очевидно, им уже тоже надоело тащиться, хотя они не устают: каждые несколько часов меняются — садятся на телеги, которые следуют сзади со всеми их вещами, и отдыхают. Нам же разрешают присесть всего один раз в день, на получасовом привале.

Ночью иногда слышны очень далекие глухие взрывы. Очевидно, там фронт. Но днем нас снова гонят дальше, и взрывов почти не слышно. А остаться здесь невыносимо. В пустом сарае не спрячешься, а если просто будешь лежать, значит, ослабла, и тебе всадят пулю в голову.

По шоссе тащимся не мы одни. Здесь растянулись длиннющие вереницы телег. Навалив свои вещи, посадив семьи, привязав коров и овец, немцы спешат на запад, подальше от фронта. Как странно, что мы, которые так ждем фронта, должны двигаться в одном направлении с ними. Но в противоположную сторону не повернешь: конвоиров много, они вооружены, их собаки свирепы, а мы — опухшие, еле живые, безоружные.

Мы уже целую неделю в Стрелентине. Это бывшее поместье. Хозяин на войне, хозяйка с детьми удрала в Берлин, а все добро разграбили соседи.

Нас держат запертыми в хлевах, а унтершарфюрер с нашей охраной живет в замке, запущенном, пустом и оскудевшем, белеющем одиноко на холме.

Есть почти не дают, только пол-литра так называемого супа — мутной водицы без соли.

Из хлевов нас выпускают только два раза в день. А чтобы не окоченеть, мы должны заниматься «спортом». По утрам и вечерам надзирательницы заставляют делать упражнения, а сами катаются со смеху от этого "спорта скелетов", как они прозвали наши жалкие попытки повторить за ними движения. Придравшись к какой-нибудь женщине, они вытаскивают ее перед строем и приказывают делать упражнение соло, а нас заставляют хохотать. Кто недостаточно искренне смеется, получает по

голове.

Я уже еле переставляю ноги. На «спорт» меня поднимают и ведут. Надзирательницы не должны знать, что я уже в таком состоянии.

К сожалению, я не одна такая.

Всю вторую половину дня землю сотрясали взрывы.

Когда стемнело, конвоиры неожиданно велели строиться. Пойдем дальше. Ночью?! Значит, на расстрел...

Так мы и не убежали от смерти.

Не пойду! Останусь. Чтобы гитлеровцы не заметили, притаюсь в уголке, пока не услышу, что кругом уже ходят наши. А если заметят... Что ж, все равно смерть, так пусть часом раньше.

Женщины уговаривают меня идти. Может, не на расстрел ведут, может, погонят дальше. Меня это уже не спасет — не дойду.

Все-таки меня вытащили. Не хотят оставить такую молодую на явную смерть. В темноте не видно будет, что они меня тащат, и, может, как-нибудь доплетусь.

Идти приказано очень тихо. Даже конвоирам запрещено разговаривать и курить. Собак они держат за ошейники и следят, чтобы те не лаяли. Почему такая таинственность?

Жуткая тишина. Взрывы, только что казавшиеся близкими, не слышны. К башмакам снова прилипло много снега. А ноги не слушаются, заплетаются. Я уже несколько раз падала, но женщины меня поднимают и тащат дальше. Неужели они не понимают, что это уже не поможет, что я уже совсем без сил и даже с их помощью не в состоянии двигаться? Я уже даже не дышу, а только хватаю воздух. Им и самим, видно, на этот раз намного труднее меня тащить: они очень часто меняются. Просят меня держаться, не выskalзываться из их рук. Но я падаю. Ничего не могу поделать...

Все...

Лежу. Меня поднимают, но ноги уже больше не слушаются, я никак не могу побороть слабость. Женщины вынуждены отпустить мои руки: их гонят...

Они уходят... Все идет мимо меня...

Я закрываю глаза, чтобы не видеть, как конвоир выстрелит...

Кажется, я жива, только болит бок. Может, ранили? Выстрела не слышно было, и не очень болело. Но почему я лежу в кювете? Дорога пуста. Значит, все ушли... Да, еще слышны удаляющиеся шаги. Что тут произошло? Неужели промахнулся? Может быть. Раны нет. А может, не стрелял? Ведь не слышно было. Ну да! Как я сразу не догадалась, что конвоир только спихнул меня в канаву.

Как здесь красиво! Лес молчаливый, словно окаменевший. И

снега много. Мягко... Хорошо и тихо...

Чей там голос?.. Неужели мне мерещится? Нет, шепчет... Женский голос. Спрашивает, жива ли я. Но мне трудно шевельнуть языком...

Голос снова спрашивает, жива ли я. Открываю один глаз: наверху, на шоссе, стоит женщина. Она велит вылезти. Лежать нельзя, потому что замерзну. Надо двигаться.

А если у меня больше нет сил двигаться, если даже разговаривать не могу?..

Оставила... По крайней мере, будет спокойно.

Нет, вернулась назад. Принесла палку. Чего она хочет?

Чтобы я не уснула.

А я как раз хочу спать.

Она просит не валять дурака. Как раз теперь, когда свобода уже так близко, надо из последних сил стараться продержаться.

А у меня и этих последних больше нет.

Все равно надо держаться. Она до тех пор не отстанет от меня, пока я не вылезу из канавы. Хоть на четвереньках, хоть до самого утра карабкаться, но я должна выбраться. Она мне поможет. Принесет еще одну палку.

За лесом снова загремели взрывы. Может, наши на самом деле близко? Надо во что бы то ни стало встать!

Моя спасительница легла на живот и тащит меня за руки. Скольжу, падаю обратно и снова пробую вылезти. Вконец замучившись, я кое-как выкарабкалась. Но стоять, оказывается, очень трудно. Пока я лежала, казалось, что набралась сил, но на самом деле слабость не прошла. Ноги не держат. Моя новая подруга подала мне палку и все-таки вытащила меня. Велела вцепиться ей в руку и хоть помаленьку двигаться, чтобы не замерзнуть.

Так и тащимся взявшись за руки, опираясь на палки.

Мы одни на длинном пустом шоссе. С обеих сторон нас обступает лес. Кажется, будто из-за каждого дерева кто-то смотрит на нас, следит.

Моей спутнице, очевидно, тоже страшно, поэтому она беспрестанно говорит. Она из Венгрии, учительница. Всю семью расстреляли — сначала родителей, потом мужа. Он был очень хороший. И родители были хорошие. Теперь она осталась одна. Совершенно одинокая. Даже не представляет себе, как сможет жить. А умирать не хочет. Поэтому она сейчас сделала вид, что ослабела: решила отстать и дожидаться Красной Армии. Она слышала, как один конвоир передал другому приказ унтершарфюрера не стрелять, даже если кто упадет, — выстрел может их выдать.

Вдруг: "Hände hoch!" Поднимаем трясущиеся руки. Из лесу выбегает вооруженный гитлеровец с собакой. Он велит отдать оружие. Не поверив, что у нас его нет, обыскивает. Требуется документы. Отвечаем, что у нас их нет, потому что мы из концентрационного лагеря, узников которого недавно провели по этой дороге. Нам стало плохо, и мы отстали, но теперь чувствуем себя совсем хорошо и догоняем.

Но гитлеровец ничего не хочет знать. Твердит, что мы русские шпионки, которых надо расстрелять. Уверяем, что мы действительно из лагеря, — разве шпионки стали бы ходить в такой одежде. А он свое: мы предательницы и ждем здесь русских.

Откуда-то появляется еще один гитлеровец. Оказывается, он знает о нашем лагере, который здесь действительно прошел и как будто остановился в деревне Хина.

Первый гитлеровец выводит из-за дерева спрятанный там велосипед, садится на него и велит нам следовать сзади. Предупреждает, чтобы мы не пытались бежать, потому что он отпустит собаку, которая нам перегрызет глотки.

Он едет, а мы стараемся не отстать. Мне опять не хватает дыхания, падаю... Но, услышав злое рычание собаки, заставляю себя двигаться. Подруга меня поддерживает.

Наконец мы подходим к маленькому домику. Приказав собаке сторожить нас, гитлеровец входит в домик. Собака не спускает с нас глаз. Так и ждет, чтобы мы шевельнулись. И все, проклятая, смотрит на шею. Наверно, не одного человека загрызла насмерть...

Уже совсем рассвело. Неожиданно мы увидели подъезжающего на телеге конвоира нашего лагеря. Он избил нас и велел залезть в телегу. Я еле вскарабкалась.

Нас повезли через какую-то деревню. Пусто. Ни одной живой души. Ставни закрыты, двери заперты. Тишина. А может, люди еще спят?

За деревней открылись поля. Вдали возле большого сарая много телег. Наверно, здесь и есть наш лагерь. Все начинается снова...

Страшно загремело. Один за другим послышались глухие взрывы. Сидевшая рядом с нами собака конвоира насторожилась. И видневшиеся у сарая гитлеровцы засуетились. Одни смотрят в небо, другие спорят между собой.

Подъезжаем. Что это? Конвоиры подкатывают к сараю бочки! Подожгут! Мы будем живыми гореть!..

Нас впускают в сарай. Там много женщин, не только из нашего лагеря. Тут же, прямо на земле, в смеси отрубей, сена и навоза, лежат умирающие и умершие. Им уже все равно...

Сказать или нет? Промолчу. Пусть не знают, будут спокойнее. Нет, скажу. Хоть одной.

Шепчу эту страшную весть соседке слева. Но она меня, кажется, не поняла. Или не слышала — кругом гремят взрывы. Говорю другой. Та с криком бросается к щелке, смотрит. Но через щель ничего не видно — ни гитлеровцев, ни дыма. Ужас охватывает и многих других. Все начинают стучать, метаться. Но никто ничего не видит. Охранников нет.

Гудит... Приближается! Самолеты?

Меня трясут за плечи. Кто? Снова эта венгерка. Спрашивает, понимаю ли я по-польски. Что он кричит?

Он кричит, что в деревне уже Красная Армия, а гитлеровцы удрали.

Может, провокация? Не надо отвечать.

Он кричит, стучит, а мы молчим.

Еще раз повторив, уходит.

Тихо... А может, гитлеровцы на самом деле испугались этих взрывов и удрали, оставив нас здесь одних?..

Снова гудит. Что-то приближается!

Почему такой шум? Почему все плачут? Куда они бегут? Ведь растопчут меня! Помогите встать, не оставляйте меня одну!

Никто не обращает на меня внимания. Хватаясь за голову, протягивая вперед руки, женщины бегут, что-то крича. Спотыкаются об умерших, падают, но тут же встают и бегут из сарая. А я не могу встать.

Рядом девушка не встает. Она мертва. Сейчас и я умру, если меня не поднимут.

За сараем слышны мужские голоса. Красноармейцы?! Неужели они?! Я хочу туда! К ним! Как встать?

В сарай вбегают красноармейцы. Они спешат к нам, ищут живых, помогают встать. Перед теми, кому их помощь уже не нужна, снимают шапки.

— Помочь, сестрица?

Меня поднимают, ставят, но я не могу двинуться, ноги дрожат. Два красноармейца сплетают руки, делают «стульчик» и, усадив меня, несут.

Из деревни к сараю мчатся санитарные машины, бегут красноармейцы. Один предлагает помочь нести, другой протягивает мне хлеб, третий отдает свои перчатки. А мне от их доброты так хорошо, что сами собой льются слезы. Бойцы утешают, успокаивают, а один вытаскивает носовой платок и, словно маленькой, утирает слезы.

— Не плачь, сестрица, мы тебя больше в обиду не дадим!

А на шапке блестит красная звездочка. Как давно я ее не

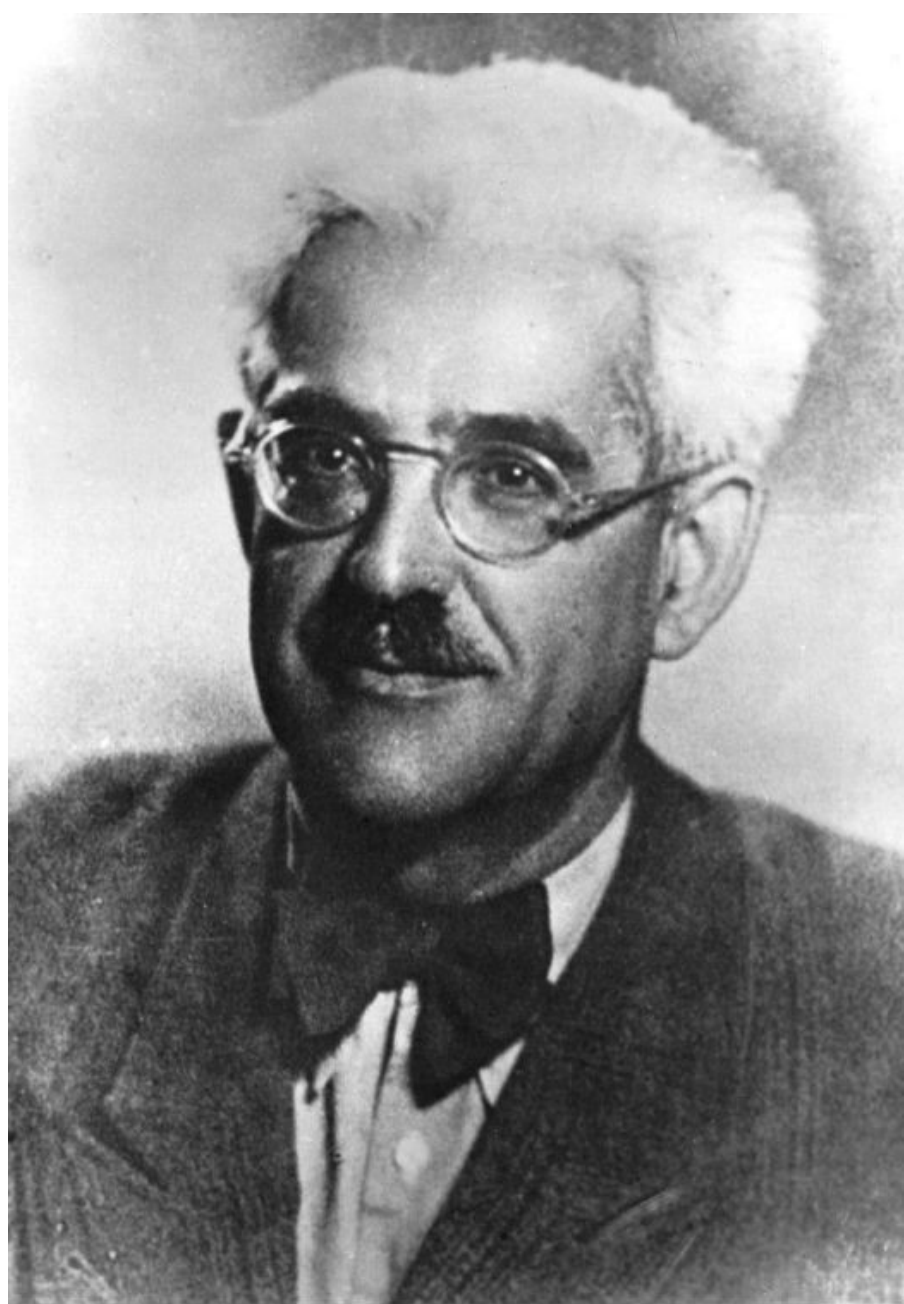
видела!..



Сидят: дедушка Абель и бабушка Хана; стоят: мама, папин брат Михель, старшая сестра Мира, мальчик - родственник, папин брат Берель, папин брат Меер, Маша Рольникайте, папа



мама - фотография 30-х годов



папа - фотография 50-х годов



старшая сестра Мира -
фотография 50-х годов



младшая сестра Раечка и младший брат
Рувик - фотография конца 30-х годов



наша семья на отдыхе - папа, мама, Мира,
Маша, Раечка - фотография 1934 года



Маша фотография 1940-го года



Маша - фотография 1946-го года